

ТЕНРИХ БЁЛЬ **ГОРОД ПРИВЫЧНЫХ ЛИЦ**



ТЕНРИХ БЁЛЬ

**ГОРОД
ПРИВЫЧНЫХ
ЛИЦ**



ТЕНРИХ БЁЛЬ

**ГОРОД
ПРИВЫЧНЫХ
ЛЮДИ**

ИЗДАТЕЛЬСТВО ЦК ВЛКСМ
„МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ“

1964

**И(Нем.)
Б43**

**Составление и перевод с немецкого Л. ЛУНГИНОЙ
Редактор С. ШЛАПОБЕРСКАЯ
Предисловие ЛЬВА ГИНЗБУРГА
Художник И. БЛИОХ**

ДОБРЫЙ ЧЕЛОВЕК ИЗ КЕЛЬНА

Когда Генрих Бёль в 1962 году приезжал в СССР, он был искренне удивлен тем, насколько он у нас популярен, представить себе не мог, что у него здесь столько поклонников в самых различных кругах. Бёлю пришлось тогда потрудиться: надписывать сотни автографов на русских изданиях своих книг — «Хлеб ранних лет», «Дом без хозяина», «Бильярд в половине десятого».

Большой читательский интерес вызвал и новый его роман — «Глазами клоуна», недавно опубликованный в русском переводе.

Конечно, и у себя на родине — в ФРГ и за границей Генрих Бёль — один из наиболее известных современных писателей, но мне вспоминаются беседы с некоторыми «законодателями» литературных вкусов в Гамбурге и в Мюнхене, которые, стоило только заговорить о Бёле, всё как-то морщились, как бы недоумевали: чего это вы в Бёле такого особенного нашли? Впрочем, они так же «недоумевали» и морщились, когда речь заходила, скажем, о Фейхтвангере, Стефане Цвейге, Ремарке: мол, вы, русские, в своих симпатиях отстали, сейчас пишут совсем «по-новому», сейчас совершенно другая проза «в моде».

Словом, мне показалось, что Бёль в Западной Германии многих не устраивает: для одних он слишком реалистичен (то есть нет у него той разорванности сознания, при которой мысли автора надо собирать по осколкам, чтобы понять, что же, собственно, хотел сказать писатель; и разговаривают у Бёля не отвлеченные предметы, а люди; и действие у него происходит в гуще реального быта, а не на голой, холодной сцене); для других — Бёль слишком смел, слишком резок. Официальная (да и не совсем официальная) Западная Германия предпочитает смотреть в иное, менее беспощадное зеркало, чем произведения Генриха Бёля. Это относится не только к его книгам о сегодняшнем дне, но и к изображению войны. Есть такие, даже весьма либерально настроенные, западногерманские «интеллек-

туалы», которые чувствуют себя оскорбленными в своем фельдфебельском «патриотизме», когда задевают их святая святых — память о «былых походах». Как бы они там ни ворчали на Гитлера, они в откровенной беседе нет-нет да выпалат: «А все-таки мы воевали неплохо», «А все-таки это было великое время», «А все-таки до Волги мы дошли!» — совсем как тот Сопляк из замечательного рассказа «Когда кончилась война», который, разглагольствуя о Брехте, Тухольском и Вальтере Бенжамене, общивал галунами свои юнкерские погоны, чтобы предстать перед папашей в полной фашистской форме.

Вот именно здесь, в яростном своем споре с «неисправимыми», Бёль безжалостен и бескомпромиссен. Развязанную Гитлером войну он изображает как бессмысленное, тупое и жестокое преступление, причинившее огромное несчастье не только другим народам, но и тем «немецким мальчикам», о которых Бёль с такой грустью и теплотой пишет в своих рассказах. Гитлеровский вермахт предстает в этих рассказах как орда грабителей, мародеров и военных преступников («В темноте» и другие рассказы первого цикла), это армия обреченных, сражающихся за неправо дело, и каждый солдат из этой армии, по существу, является соучастником преступления. Бёль распирает ненависть к войне, к фашистско-прусскому лжепатриотизму с его казенным, наглым «величием» и пошлостью. Подчас писателю достаточно одной фразы, чтобы разрушить утвердившийся в сознании нескольких поколений казенный образ: «Мост был широким и железным, как грудь Бисмарка у сотен памятников, и незыблемым, как боевой приказ».

Последний понедельник августа 1939 года, пустой казарменный двор, залитый августовским солнцем. Канун войны.

Много существует книг о немецкой казарме, этой школе тупости и человеконенавистничества, но в рассказе «Когда началась война» Бёль сказал и другое: фашистская казарма — своего рода станция отправления, откуда только один путь — в смерть.

Не приходится говорить, как важно всякое напоминание об этом для молодых западных немцев — сегодняшних рекрутов, призывников и солдат бундесвера. Как сложится их судьба? Не ждет ли их печальная участь телефониста Лео?

Конечно, Бёль и сочувствует этим «мальчикам», но мы, советские люди, помним и другую сторону дела. Мы хорошо знаем, сколько невероятных страданий принесли фашистские оккупанты нашей земле и ценой каких жертв, какой крови мы от всех этих «мальчиков» избавились. Пусть же и они и их дети помнят грозный урок, пусть страшатся вновь приходиться с оружием в руках на чужую землю, пусть не молчат, когда их уговаривают искать «славу Германии» и «жизненное пространство» за границами своей страны. Чем это все кончается, достаточно убедительно показал Генрих Бёль.

В своих рассказах Бёль выносит обвинительный приговор кровавому фашистскому времени и вместе с тем развенчивает годы, предшествовавшие захвату Гитлером власти: эгоизм, рас-

пад нравственности, безработицу, полицейские бесчинства, которыми в Германии были ознаменованы конец 20-х — начало 30-х годов. Вот почему с таким презрением отворачивается от своего «немецкого» прошлого немец Донат, ставший «аргентинцем» Хрантоксом («Час ожидания»), а герои рассказа «Прощание» грустно констатируют: «Нам уже по тридцать... столько, сколько голоду и всему дерьму у нас в Европе...»

Но прошлое осталось позади, гитлеровская Германия рухнула, что же дальше?

Рассказы Бёля о послевоенной западногерманской жизни составляют как бы продолжение биографии излюбленного персонажа его «военных» рассказов, вернее, несколько вариантов этого продолжения (не случайно в большинстве рассказов повествование ведется от первого лица). Мы видим вчерашнего «мальчика» то в роли мелкого спекулянта на «черном рынке», то в нелепом амплуа курьера «Всегерманского общества охотничьего собаководства» или служащего по налоговому обложению собак, то в виде шофера у оптового торговца фруктами, то занятого дурацкой статистикой — подсчетом количества пешеходов, проходящих по городскому мосту. Подоплека и суть всех этих «вариантов» одна: неустроенность, душевный неуют, опустошенность, отвращение к действительности.

Так называемый «маленький человек», обездоленный войной, оказался обездоленным и в послевоенное время. Его крохотные радости призрачны, его одиночество безмерно, и окружают его всеобщая мелочность и равнодушие. Повседневная забота о куске хлеба, судорожные поиски «удачи» изощрили его ум — на какие только ухищрения не пускается «маленький человек», чтобы не пропасть, продержаться, добыть «горсточку счастья», какие только профессии себе не придумывает, а «удачи» все нет и нет, и человек печально усмехается несуразности жизни и своему невезению, которому, наверно, не будет конца.

Иногда, читая эти рассказы, невольно сравниваешь их с немецкой прозой 20-х годов. В чем-то Бёль перекликается с Фалладой, Келлерманом, Ремарком, однако дело здесь не в литературных влияниях, а в повторении жизненных ситуаций: положение простого человека мало в чем изменилось, а «хозяева» с течением времени лучше не стали.

Разумеется, внешние перемены все же произошли, кое-кому счастье улыбнулось, и вечный неудачник и попрошайка дядя Фред (из одноименного рассказа), с которым случилось «экономическое чудо», разъезжает теперь в собственном автомобиле. Но это хваленое «чудо» не что иное, как благополучие «шиберов», благополучие махинаторов «черного рынка» и лотерейных счастливицков, зыбкое и грязное «благополучие», выросшее на гнилой боннской почве. Собственно, это и есть реакция: порочный строй, порочный уклад жизни, к тому же еще омраченный религиозным гнетом и ханжеством. Людей, живущих в такой атмосфере, совсем не трудно втянуть в любую новую авантюру, а так называемая «внутренняя опу-

«пустоту» соответствующим содержанием.

Так, может быть, сам того не желая, Генрих Бёль выступает в своих рассказах с серьезными разоблачительными свидетельствами.

Невеселая, серая жизнь... Горечь... Уныние... Почему же, прочитав эту книгу до конца, мы проникаемся чувствами скорее светлыми, чем сумрачными?

Дело в том, что суть этих рассказов (кстати сказать, с большой достоверностью и отличным пониманием стиля и «души» подлинника переведенных Л. Лунгиной), главную их идею составляют доброта и гуманность, глубоко выстрадавшие, а не показное сочувствие к людям, желание, чтобы они были счастливы, чтобы поскорей избавились от того «дерьма», которому уже столько лет, что можно сбиться со счета...

Само собой понятно, что мы далеки от идеализации всего творчества Генриха Бёля и не закрываем глаза на существенные его недостатки. Бёль относится к тем субъективно честным художникам Запада, которые, «нащупав» социальную болезнь, затрудняются назвать средства лечения и зачастую не замечают реальных сил, противостоящих буржуазному злу. Такой силой на немецкой земле является Германская Демократическая Республика, да и в самой Западной Германии в невероятно тяжелых условиях растут и мужают люди, умеющие бороться со злом куда более действенно, чем наивный студент Мислер из рассказа «Шмек не стоит слез».

Всё это мы знаем, всё это имеем в виду и, читая Бёля, внутренне спорим с талантливым автором.

И все же теплее становится на душе, когда вспоминаешь, что в Западной Германии, в городе Кельне, на Рейне, живет добрый писатель и добрый человек — Генрих Бёль.

Лев Гинзбург

О САМОМ СЕБЕ

Я родился в Кельне, где Рейн, устав от изощренных красот среднерейнского пейзажа, становится широченной рекой и течет по однообразной равнине навстречу туманам Северного моря; где государственная власть никогда не принималась слишком всерьез, а церковная хоть и принималась, но куда меньше, чем принято думать в Германии; где Гитлера забросали цветочными горшками, где открыто смеялись над Герингом, этим кровавым фатом, который умудрился за час своего пребывания в городе трижды сменить мундир; я стоял вместе с тысячами кельнских школьников, выстроенных вдоль тротуаров, когда он ехал по улицам, облаченный в свой третий, белоснежный мундир, я предчувствовал, что гражданское легкомыслие моих земляков сделает их бессильными против неотвратимо надвигающейся беды. Я родился в Кельне, который знаменит своим готическим собором, хотя скорее должен был прославиться романскими церквями; в Кельне, давшем приют самой старой в Германии еврейской общине и бросившем ее на произвол судьбы; гражданственность и юмор были бессильны против беды — тот юмор, которым Кельн знаменит не меньше, чем собором, юмор, пугающий в своем официальном проявлении, но порой великий и мудрый на улице.

Я родился в Кельне 21 декабря 1917 года, в то время, как мой отец, народный ополченец, стоял

в карауле на мосту. В самый тяжелый, в самый голодный год мировой войны у него родился восьмой ребенок; двух малышей он до этого уже похоронил; я родился в то время, как мой отец проклинал войну и болвана кайзера, памятник которому он показал мне потом. «Вон там наверху, — сказал отец, — он все еще скачет на запад на своем бронзовом жеребце, а ведь на самом-то деле он давным-давно колет дрова в преисподней». И теперь еще кайзер скачет на запад на своем бронзовом жеребце.

Мои предки со стороны отца, корабельные мастера, несколько сотен лет назад перебрались сюда с Британских островов, потому что были католиками и изгнание предпочли государственной религии Генриха VIII. Достигнув Голландии, они двинулись вверх по Рейну: они всегда больше любили город, чем деревню, и, оказавшись вдали от моря, стали плотничать. С материнской стороны мои предки были крестьяне и пивовары, в самом корне своем состоятельные и работающие, однако среди их потомков затесался расточитель, так что в следующем поколении семья обеднела, но зато в ней опять появился дельный труженик, потом все снова покатило под гору, и родители моей матери уже не пользовались уважением, были бедны, и на них, собственно, род и угас.

Мое первое воспоминание: возвращение домой гинденбурговской армии — аккуратные серые колонны с лошадьми и пушками уныло двигались мимо наших окон; сидя на руках у матери, я глядел на улицу, где нескончаемой вереницей тянулись солдаты к мостам через Рейн; позже: мастерская моего отца — запах дерева, запах клея, лака, протравы, свежеструганные доски, сарай на задворках доходного дома, где разместилась мастерская. В том доме было больше людей, чем в иной деревне, они пели, ругались, развешивали белье на сушилах; еще позже: звонкие германские названия улиц, на которых я играл, — Тевтобургерштрассе, Эбуроненштрассе, Велештрассе, и воспоминания о переездах с квар-

тиры на квартиру, переездах, которые любил мой отец — мебельные фургоны, пьющие пиво грузчики, печально качающая головой мать — она всякий раз привязывалась к новому очагу и никогда не забывала снять кофейник с огня, прежде чем кофе закипал. Мы всегда жили недалеко от Рейна, и дети обычно играли на пароме, во рвах старых укреплений, в запущенных парках — садовники вечно бастовали; воспоминание о первых деньгах, которые мне дали в руки: это была купюра с цифрой, достойной банковского счета Рокфеллера — один миллиард марок; на нее я купил длинный полосатый леденец; чтобы расплатиться со своими помощниками, отец привозил деньги на тачке; несколько лет спустя марка вновь стабилизировалась, и каждый пфенниг был уже на счету; школьные товарищи кланчили у меня на переменах кусочек хлеба — их отцы были безработные; беспорядки, забастовки, красные знамена — вот что я видел, когда ехал на велосипеде в школу по улицам самых густонаселенных кварталов Кельна. Спустя несколько лет безработные оказались пристроенными — они стали полицейскими, солдатами, палачами, рабочими военных заводов либо попали в концлагеря; статистика подтверждала процветание, рейхсмарки текли рекой; расплачивались по счетам позже — нами, когда мы, к тому времени неожиданно став мужчинами, старались расшифровать постигшую всех нас беду, но не могли найти подходящего кода; сумма страданий была слишком велика, чтобы взыскать ее с тех немногих, кого явно можно было назвать виновными, получался остаток — он и по сей день еще не поделен.

Писать я хотел всегда, сызмальства брался за перо, но лишь потом нашел слова.

**КОГДА
НАЧАЛАСЬ
ВОЙНА**



КОГДА НАЧАЛАСЬ ВОЙНА



Когда началась война, я лежал животом вниз на подоконнике, засучив рукава рубахи, и пристально глядел мимо ворот, мимо часовых, на окно телефонной станции штаба полка, ожидая условного сигнала от моего друга Лео: он должен был подойти к окну, снять с головы фуражку и снова ее надеть; всегда, когда можно было, я лежал на подоконнике и всегда, когда можно было, звонил по телефону одной девочке в Кельн и маме; вот сейчас Лео подойдет к окну, снимет фуражку и снова наденет, а я опрометью кинусь через казарменный двор в телефонную будку ждать вызова.

Другие телефонисты сидели с непокрытой головой, в нижних сорочках, и когда они подавались вперед, чтобы всунуть штеккер в гнездо, или вытащить его, или щелкнуть дверцей клапана, из расстегнутого ворота свешивался медальон с личным номером, но он снова исчезал, едва они выпрямлялись. Один Лео сидел в фуражке, и то лишь затем, чтобы, сняв ее, подать мне знак. Лео был истый ольденбуржец — крупные черты лица, розовая кожа, льняные волосы; при первом взгляде лицо его поражало простодушием, при втором взгляде оно поражало невероятным простодушием, и никто не присматривался к Лео настолько, чтобы увидеть что-либо сверх этого. Весь его облик наводил такую же скуку, как мальчишеские лица на рекламе сыра.

Полдень миновал, но жара не спадала. За прошедшую неделю обстановка боевой готовности стала привычной, дни, проведенные в праздном ожида-

нии, напоминали неудачные воскресенья; обезлюдевшие дворы казались вымершими, и я был рад, что могу хоть голову высунуть наружу, хоть ненадолго вырваться из атмосферы казарменного товарищества. А в окнах напротив телефонисты все кого-то соединяли и разъединяли, щелкали дверцами клапанов, отирали пот со лба, и среди них сидел Лео в фуражке, из-под которой выбивались густые льяные волосы.

Вдруг я заметил, что ритм соединений-разъединений изменился, движения телефонистов потеряли привычную размеренность, стали четкими, а Лео трижды всплеснул руками: знак, о котором мы не уславливались, но по нему я понял, что произошло нечто из ряда вон выходящее; потом я увидел, как один телефонист взял лежавшую на коммутаторе каску и надел ее; в каске он выглядел комично — потный, в нижней сорочке, с болтающимся на шее медальоном, но мне не захотелось над ним смеяться; я вспомнил, что каску как будто надевают после объявления боевой тревоги, и мне стало страшно.

Ребята, дремавшие на койках за моей спиной, тем временем поднялись, закурили сигареты и разбились на две обычные группы. Трое будущих учителей, все еще надеявшихся получить освобождение от военной службы для «деятельности на поприще народного образования», возобновили свой нескончаемый спор о мировоззрении Эрнста Юнгера*; двое других — фельдшер и приказчик — завели речь о женском теле; они не отпускали грязных острот, не хихикали, а разбирали предмет так, как скучнейшие учителя географии разбирают рельеф пересеченной местности. Обе темы меня совсем не интересовали. Быть может, психологам, людям, имеющим особую склонность к психологии, и тем, кто как раз готовится к экзамену по психологии в Высшей народной школе, будет любо-

* Эрнст Юнгер (р. 1895) — реакционный немецкий писатель фашистского толка. (Здесь и далее примечания переводчика.)

пытно узнать, что в эту минуту мне сильнее, чем за все последние недели, захотелось позвонить девочке в Кельн; я подошел к своему шкафчику, достал фуражку, надел ее и снова улегся на подоконник: это был условный сигнал для Лео, означавший, что мне нужно с ним срочно поговорить. Лео кивнул мне, давая понять, что сигнал принят; тогда я облачился в мундир, быстро сбежал по лестнице и пришелся ждать Лео у входа в штаб полка.

Стало еще жарче, еще тише, дворы еще больше опустели, а, пожалуй, ничто так не соответствует моему представлению об аде, как раскаленные, тихие, пустые казарменные дворы. Вскоре появился Лео, тоже в каске; на лице его застыло одно из тех пяти выражений, которые замечал только я: с этим выражением лица он сидел у коммутатора, когда дежурия поздно вечером или ночью, подслушивал секретные разговоры и передавал мне их содержание либо вдруг, выдернув штеккер из гнезда, прерывал какой-нибудь секретный разговор, чтобы предоставить мне тоже срочный и тоже секретный разговор с моей девочкой в Кельне; потом я садился на его место, а он звонил сперва своей девочке в Ольденбург, а потом отцу; время от времени он отрезал от окорока, который ему прислала мать, куски в палец толщиной, затем рассекал их на кубики, и мы не торопясь пожирали эти ветчинные кубики. Когда было мало работы, Лео учил меня искусству определять чин абонента по тому, как отскакивают дверцы клапанов. Сперва я думал, что для этого достаточно отмечать, с какой силой отскакивает клапан, — чем сильнее он отскакивает, тем выше воинское звание абонента: ефрейтор, унтер-офицер и т. д. Но дело оказалось значительно хитрее, и Лео мог точно сказать, кто именно просит соединения — усердствующий сержант или усталый полковник. Мало того, глядя на дверцы клапанов, он различал то, что различить было почти невозможно: снял трубку раздражительный капитан или вспыльчивый обер-лей-

тенант. В течение ночного дежурства на лице Лео сменяли друг друга и остальные известные мне выражения: беспощадной ненависти или извечного коварства, и тут он становился вдруг крайне педантичным, и голос его звучал предельно вежливо, когда он произносил свои: «Так точно» или «Вы еще не закончили?», и при этом с пугающей меня быстротой перемещал штекеры, отчего служебный разговор о сапогах превращался в разговор о сапогах и боеприпасах, разговор о боеприпасах — в разговор о боеприпасах и сапогах, а в интимную беседу ротного фельдфебеля с женой врывается гневный голос обер-лейтенанта: «Я требую наказания, я на этом настаиваю». С быстротой молнии Лео вдруг снова перекидывал штекеры, и абоненты, наконец, могли договориться и о сапогах и о боеприпасах, а что до супруги ротного фельдфебеля, то и она получала возможность поправляться на боли в желудке. После того как мы управлялись с ветчиной и на смену заступал другой телефонист, мы шли по тихому двору в нашу казарму, и тогда на лице Лео появлялось последнее, пятое, выражение — безумное; выражение такой абсолютной невинности, которая уже не имеет ничего общего с детской.

В любое другое время я бы всласть поиздевался над Лео за то, что он появился передо мной в каске, как символе чрезвычайной важности происходящего. Он глядел куда-то мимо меня, в сторону конюшен, видневшихся за вторым двором. Третье выражение на его лице сменилось пятым, а на пятое вдруг наплыло четвертое, и тогда он сказал мне:

— Началась война, война, война — они своего добились!

Я промолчал, и он спросил:

— Ты, конечно, хочешь с ней поговорить?

— Да, — ответил я.

— Со своей я уже говорил. У нее не будет ребенка, и я не знаю, радоваться мне этому или нет.

— Радуйся, — сказал я. — Думаю, в войну плохо иметь детей.

— Всеобщая мобилизация, — сказал он. — Боевая тревога. Через день-другой здесь все ходуном пойдет — не скоро нам теперь удастся на велосипедах покататься. (Когда нам давали увольнительную, мы с Лео брали велосипеды и катили куда-нибудь подальше, в луга, а потом заворачивали в какой-нибудь крестьянский дом, и хозяйка жарила нам глазунью и густо мазала салом толстые ломти хлеба.) Да, вот тебе первый военный анекдот, — добавил Лео. — Меня произвели в унтер-офицеры — за особые способности и особые заслуги в деле телефонной связи; а теперь отправляйся в телефонную будку и, если через три минуты я тебя не вызову, можешь меня разжаловать за бездарность.

В будке я облокотился о телефонную книгу, закурил и стал глядеть сквозь дырку в матовом стекле на двор казармы; никого не было видно, кроме супруги ротного фельдфебеля в окне одного из строений, кажется, четвертого — она поливала из желтой лейки герань; я ждал, поглядывая на свои часы: минута, две, три, и я испугался, когда и в самом деле раздался звонок, и еще больше испугался, когда тут же услышал голос девочки из Кельна: «Мебельный магазин Майбах, Шуберт», и тогда я сказал: «Ах, Мари, началась война, понимаешь, война», и она сказала: «Нет». И я сказал: «Началась, да, да», и тогда она с полминуты молчала, а потом спросила: «Приехать?», но прежде чем я успел, подавшись порыву, ответить: «Да, да, да», в наш разговор ворвался голос какого-то офицера, видимо в большом чине: «Нам нужны боеприпасы, срочно нужны боеприпасы». Девочка сказала: «Ты слушаешь?» Офицер завопил: «Свинство!»; за это время я смог обдумать, что в ее голосе было мне чуждо, что меня пугало: в нем звучали брачные ноты, и я вдруг ясно понял, что мне не хочется на ней жениться. Я сказал: «Наверное, мы еще сегодня выступим». Офицер все орал: «Свинство!» Должно быть, покрепче он ничего не мог придумать, а девочка сказала: «Я еще успею

на четырехчасовой, и тогда около семи я буду у тебя», но я сказал быстрее, чем позволяла вежливость: «Поздно, Мари, слишком поздно», — и услышал в ответ только офицера, который, явно потеряв всякое самообладание, продолжал орать: «Так как же с боеприпасами? Получим мы их или нет?» И тогда я сказал железным голосом (я научился этому у Лео): «Нет, нет, хоть тресни, не видать тебе боеприпасов», и положил трубку.

Когда мы начали грузить сапоги из товарных вагонов в грузовики, было еще светло, но пока мы грузили сапоги из грузовиков в товарные вагоны, стало уже темно, а когда мы грузили сапоги из товарных вагонов снова в грузовики, было еще темнее, а потом рассвело, и мы грузили прессованное сено из грузовиков в вагоны, и еще долго было светло, и мы все грузили это сено из грузовиков в вагоны; а потом снова стемнело, и ровно в два раза дольше, чем мы грузили сено из грузовиков в вагоны, мы грузили его из вагонов в грузовики; за это время к нам один раз приезжала полевая кухня, и каждый из нас получил много гуляша, и немного картошки, и настоящий кофе, и сигареты, за которые не надо было платить; все это нам давали, кажется, в темноте, потому что я помню голос, который произнес: «Натуральный кофе и бесплатные сигареты — это верный признак войны», но лица, связанного с этим голосом, у меня в памяти не осталось. Когда мы строим возвращались в казарму, уже снова рассвело, а едва мы свернули в улицу, ведущую к казарме, как повстречали первый выступающий батальон. Впереди шел оркестр и играл: «Ах, зачем, ах, зачем...», потом шла первая рота, за ней бронемашины, а следом — вторая, третья и, наконец, четвертая с тяжелыми пулеметами. Ни на одном лице, просто ни на едином я не заметил признаков воодушевления; на тротуаре стояли, конечно, люди, и девушки тоже, но я не видел, чтобы хоть одну солдатскую винтовку украсили цветами; нет, воодушевлением и не пахло.

Постель Лео стояла нетронутой; я отпер его шкафчик — такая степень доверия между нами вызвала глубокое неодобрение будущих учителей, которые, сокрушенно качая головой, говорили: «Это уж слишком»; все там было на своих местах: фотография ольденбургской девчонки, которая стояла, опираясь на велосипед, под березкой; фотография родителей Лео на фоне их крестьянской усадьбы. Возле окорока лежала записка: «Меня направили в штаб дивизии, скоро дам о себе знать, возьми весь окорок, у меня есть еще. Лео». Не прикасаясь к окороку, я запер шкафчик; есть мне не хотелось, а на столе лежал сухим пайком наш двухдневный рацион: хлеб, баночки паштета, масло, сыр, мармелад и сигареты. Один из будущих учителей — тот, что был мне наиболее неприятен, сообщил, что его произвели в ефрейторы и на время отсутствия Лео назначили старшим по комнате; затем он приступил к дележу продуктов; это длилось очень долго; меня интересовали только сигареты, а их он раздавал в последнюю очередь, потому что сам не курил. Когда я, наконец, получил свою долю, я тут же вскрыл пачку, лег, в чем был, на постель и закурил; от нечего делать я стал наблюдать, как едят остальные ребята. Они мазали на хлеб толстый слой паштета — в палец, не меньше, и обсуждали «превосходное качество масла». Покончив с едой, они спустили на окна шторы затемнения, разделись и легли в постель; было очень жарко, но мне не хотелось раздеваться; сквозь щели у краев штор в помещение пробивалось солнце, и в такой полосе света сидел вновь испеченный ефрейтор и нашивал на мундир ефрейторский уголок. Нашить его — дело нелегкое: уголок должен находиться в определенном, точно обусловленном расстоянии от шва, кроме того, надо следить, чтобы он не оказался перекошенным; учителю пришлось несколько раз спарывать нашивку; два битых часа, если не больше, просидел он, спарывая и пришивая один уголок, казалось, терпение у него никогда не лопнет. Каждые сорок минут по двору проходил полковой оркестр, я слышал, как «Ах, зачем, ах, за-

чем» звучало сперва у строения номер 2, потом у строения номер 7, потом у номера 9, потом у конюшен, музыка приближалась, становилась все громче, затем удалялась, затихала; это повторилось ровно три раза, прежде чем ефрейтор пришел себе уголок на рукав, и то он был пришит криво; к этому времени у меня кончились сигареты, и я заснул.

После обеда нам уже не надо было ничего грузить — ни сапоги из грузовиков в вагоны, ни пресованное сено из вагонов в грузовики; нас отправили в распоряжение обер-фельдфебеля, полкового кладовщика, который считал себя гением по части организации труда; он потребовал в помощь столько людей, сколько было номеров в списках полученного обмундирования и снаряжения; к одним только плащ-палаткам он приставил двух солдат да еще третьего в качестве писаря. Первые два выносили из кладовой плащ-палатки и расстилали их, аккуратно расправив, на бетонном полу конюшни; как только весь пол был устлан, первый солдат клал на каждую плащ-палатку по два подворотничка, второй шел за ним следом, раскидывая по два носовых платка, потом выступал я с котелками и прочей посудой и так далее, пока все предметы, для которых, как выражался фельдфебель, «размеры роли не играют», не были разложены; а тем временем сам фельдфебель вместе с «более грамотной частью» своей команды готовил те вещи, для которых размеры играют роль: мундиры, сапоги и тому подобное; у него кипами лежали солдатские книжки, и по указанным там весу и росту он подбирал мундиры и сапоги да еще клялся, что все будет впору, «если только эти скоты не разжирили на гражданке»; все это надо было делать очень быстро, безостановочно, и это делали очень быстро, безостановочно, а когда все обмундирование, наконец, разложили, в конюшню ввели мобилизованных и указали им их плащ-палатки; каждый связал свою в узел и, взвалив на плечи, отправился в казарму переодеваться. Почти ничего не приходи-

лось менять, а если и приходилось, то лишь потому, что мобилизованный и впрямь «разжирел на гражданке». Так же редко случалось, чтобы чего-нибудь не хватало в комплекте: сапожной щетки, например, или там ложки с вилкой, а если и не хватало, то тут же выяснялось, что кто-то другой получил две сапожные щетки или два прибора, — обстоятельство, подтверждавшее теорию фельдфебеля, что мы недостаточно механически работаем, «слишком утруждаем свой мозг». Что до меня, то я свой мозг нимало не утруждал, и поэтому недостаки котелков и мисок в комплектах обнаружено не было.

В тот миг, когда первый солдат из очередной роты вскидывал на плечи свой узел, первый из нашей команды должен был расстелить на освободившемся месте новую плащ-палатку. Все шло у нас как по маслу, а вновь произведенный ефрейтор тем временем отмечал каждый предмет в толстой книге. Почти во всех графах он должен был проставлять единицу, и только там, где были обозначены подворотнички, носки, носовые платки, сорочки нательные и кальсоны, он проставлял двойки.

И все же выпадали «мертвые минуты», как их называл фельдфебель, и нам разрешалось употребить их на то, чтобы немного подкрепиться. Мы располагались на топчанах конюхов и ели бутерброды с ливерной колбасой, а иногда с сыром или с пластовым мармеладом, а когда и на долю фельдфебеля выпадали две-три «мертвые минуты», он подсаживался к нам и объяснял, в чем заключается разница между воинским званием и должностью; ему казалось необычайно интересным, что сам он — унтер-офицер интендантской службы («Это моя должность»), а чин имеет фельдфебеля («А это мое воинское звание»). «Таким образом, — говорил он, — даже ефрейтор может быть унтер-офицером интендантской службы, да что там ефрейтор — рядовой солдат». Эта тема никак не давала ему покоя, и он все придумывал и придумывал новые случаи несоответствия звания и должности — некоторые из них свидетельствовали о том,

что его фантазия может толкнуть его на путь государственной измены. «Так что вполне может случиться, — говорил он, — что ефрейтор станет командиром роты, а то и батальона».

Десять часов кряду я раскладывал котелки и миски по плащ-палаткам, потом шесть часов спал, а потом снова десять часов раскладывал котелки и миски; затем снова шесть часов спал и за все это время не имел никаких известий от Лео. Когда пошли третьи десять часов раскладывания котелков и мисок, ефрейтор во всех графах, где надо было писать единицы, стал писать двойки, а где надо было двойки — единицы. Его сменили и поручили ему раскладывать подворотнички, а второго молодого учителя назначили писарем. Меня же так и оставили на котелках и мисках: фельдфебель считал, что я, на удивление, успешно справляюсь с порученным заданием.

Во время «мертвых минут», когда мы, примостившись на топчанах, уминали хлеб с сыром, хлеб с мармеладом и хлеб с ливерной колбасой, стали распространяться какие-то странные слухи. Рассказывали, например, историю про одного довольно известного, теперь уже уволенного в отставку генерала, которому по телефону было передано предписание явиться на небольшой островок и принять там под свою команду особо важную и особо секретную часть; генерал вытащил из шкафа мундир, поцеловал на прощанье жену, детей и внуков, похлопал по крупу любимого коня, сел в поезд и доехал до нужного пункта на побережье Северного моря, там нанял моторку и прибыл на указанный остров; по глупости генерал отправил моторку назад прежде, чем обнаружил на этом острове свою «особо секретную часть». Начался прилив, и генерал, угрожая оружием, — так, во всяком случае, рассказывали, — заставил местного крестьянина с риском для жизни переправить его на весельной лодке на материк. После обеда это уже рассказывали в ином варианте: будто бы в лодке генерал и крестьянин схватили друг друга за грудки,

вывалились за борт и утонули. Мне становилось жутко оттого, что история про генерала — и другие ей подобные — воспринималась и как рассказы о происках врага и как анекдоты, а я не находил в них ни ужасного, ни смешного. Я не мог принять всерьез мрачного и жалкого слова «саботаж», которое звучало в этих байках неким нравственным камертоном, но не мог и потешаться над ними и зубоскалить вместе со всеми.

В любое другое время строевой марш «Ах, зачем, ах, зачем», одолевший мой мозг, вторгшийся в мой сон и заполнивший недолгие минуты бодрствования, так же как и нескончаемый поток мужчин, бежавших с картонками под мышкой от трамвайной остановки к воротам казармы, а час спустя покидавших казарму под звуки «Ах, зачем, ах, зачем», и даже речи, которые мы слушали вполуха, речи, где без конца повторялось слово «сплоченность», — все это в любое другое время показалось бы мне комичным, но то, что прежде было бы комичным, теперь не было комичным, и над тем, что прежде казалось бы мне смешным, я уже не мог ни смеяться, ни насмеяться; даже над фельдфебелем, даже над ефрейтором — его уголок так и остался пришитым криво, и он то и дело клал на плащ-палатки по три подворотничка вместо двух.

По-прежнему стояла жара, по-прежнему был август, а то, что трижды шестнадцать составляет сорок восемь, то есть ровно двое суток, я понял, только когда проснулся в воскресенье часов в одиннадцать утра и впервые с тех пор, как Лео получил новое назначение, улегся на подоконник; будущие учителя, облачившись в парадную форму, уже были готовы отправиться в церковь и с порога вопросительно взглянули на меня.

— Идите, идите, я следом, — ответил я и понял по их лицам, что они рады обойтись без моего общества. Всякий раз, когда мы вместе шли к мессе, они дорогой на меня смотрели так, словно собира-

лись тут же отлучить от церкви, потому что всякий раз что-то во мне самом или в моем мундире их не устраивало: плохо вычищенные сапоги, неаккуратно подшитый подворотничок, слабо затянутый ремень или давно не стриженные волосы; причем возмущались они не как солдаты одной со мной части (на что они, с моей точки зрения, объективно говоря, может быть, и имели право), но как католики; им было бы куда приятней, если бы я не заявил без обиняков, что мы с ними принадлежим к одной церкви; для них это было весьма прискорбное обстоятельство, но что поделаешь, если в моей солдатской книжке стоит буква «К» — католик.

Они так радовались, что в это воскресенье могут отправиться в церковь без меня, — я ясно видел это, глядя, как они, такие чистенькие, такие подтянутые, такие ладные, шагали мимо казармы в город. Иногда, когда у меня случались приступы сочувствия к ним, я думал о том, как им повезло, что Лео — протестант, они, пожалуй, не выдержали бы, окажись и Лео католиком.

Приказчик и фельдшер еще спали; явиться в конюшню нам надо было к трем часам дня. Я некоторое время полежал еще на подоконнике — как раз столько, сколько можно было, чтобы попасть в церковь к концу проповеди. Когда я одевался, я снова открыл шкафчик Лео и ужаснулся: шкафчик был пуст — там ничего не было, кроме записки и здорового куска окорока. Лео запер шкафчик, видно, только для того, чтобы я получил его записку и ветчину. В записке я прочел: «Я погорел, они отправляют меня в Польшу. Ты, наверное, уже об этом слышал?» Я сунул записку в карман, замкнул шкафчик и быстро надел мундир. Словно в каком-то оцепенении отправился я в город, вошел в церковь, и даже укоризненный взгляд учителей, которые обернулись на меня, покачали головами, а потом вновь уставились на алтарь, не привел меня в чувство. Видимо, они хотели выяснить, не пришел ли я после возношения даров, дабы возбудить дело об отлучении меня от церкви. Но я в самом деле пришел до

возношения даров, так что сделать они ничего не могли, а я тоже был готов остаться католиком. Я думал о Лео, и мне было страшно, я думал и о девочке из Кельна и чувствовал себя немного подонком, но я готов был отдать голову на отсечение, что в ее голосе звучали брачные ноты. Чтобы окончательно взбесить своих казарменных единоверцев, я еще в церкви расстегнул крючок воротника.

Выйдя из церкви после мессы, я остановился в тенистом уголке, как раз между ризницей и калиткой, и прислонился к ограде. Я снял фуражку, закурил и стал разглядывать выходящую из портала толпу; я думал о том, как бы мне познакомиться с какой-нибудь девчонкой, погулять с ней по улицам, выпить кофе, а может быть, и пойти в кино; оставалось три часа до того, как мне снова придется раскладывать по плащ-палаткам котелки и миски. Мне хотелось бы, чтобы эта девчонка была не слишком глупой и по возможности хорошенькой. Я думал и о своем обеде в казарме, который теперь пропадет; надо было сказать приказчику, чтобы он съел мою котлету и сладкое.

Я докуривал уже вторую сигарету, наблюдая, как верующие останавливались, собирались в группки, снова расходились, а когда я прикуривал третью сигарету от окурка второй, то заметил, что сбоку на меня упала чья-то тень; я обернулся направо и обнаружил, что человек, отбрасывающий эту тень, еще чернее своей тени: это был тот капеллан, который только что отслужил службу. Он казался очень приветливым, был еще не стар, лет тридцати, не больше, белокур и, пожалуй, чересчур упитан. Сперва он поглядел на мой расстегнутый воротник, затем на мои сапоги, затем на непокрытую голову и на мою фуражку, которую я, сняв, положил на цоколь ограды, но она оттуда упала и валялась теперь на асфальтовой дорожке; наконец его взгляд остановился на моей сигарете, скользнул по моему лицу, и у меня

возникло впечатление, что все, что он увидел, ему не понравилось.

— Что случилось? — спросил он. — У вас какие-нибудь неприятности?

И едва я успел кивнуть в ответ, как он уже выпалил:

— Хотите исповедаться?

«Проклятье! — подумал я. — У них в голове только исповедь, и в ней-то их интересует лишь одно».

— Нет, — сказал я, — исповедаться я не хочу.

— Так что же? Что отягощает вашу душу?

Этот вопрос прозвучал так, словно вместо «душу» он хотел сказать «желудок».

Он явно потерял терпение, не сводил глаз с моей фуражки, его раздражало — я это чувствовал, — что я все еще ее не поднял. Я охотно превратил бы его нетерпение в терпение, но ведь не я с ним заговорил, а он со мной, и поэтому я его спросил, по-глупому запинаясь, не знает ли он какой-нибудь милой девушки, с которой я мог бы погулять по городу, выпить кофе и, быть может, даже вечером пойти в кино; вовсе не обязательно, чтобы она была красавицей, но хоть чуть-чуть привлекательной она все же должна быть, а главное, не из так называемой хорошей семьи, потому что эти девушки чаще всего оказываются глупенькими; я дам ему адрес капеллана в Кельне, у которого он может навести обо мне справки, в крайнем случае позвонить ему по телефону, чтобы удостовериться, что я из добропорядочной католической семьи. Я говорил долго, в конце даже перестал запинаясь и все время наблюдал, как менялось выражение его лица: сперва оно было благожелательным, чуть ли не приветливым — правда, только в самом начале, когда он, видимо, считал, что я представляю собой интересный и, быть может, даже чем-то примечательный случай слабоумия, и находил меня психологически забавным. Впрочем, эти переходы от благожелательного выражения к приветливому, от приветливого к заинтересованному были едва уловимы, но потом он вдруг — как раз в тот

момент, когда я объяснял ему, какими физическими достоинствами должна обладать девушка, — побагровел от бешенства. Я испугался, потому что мама мне говорила, как опасно, когда у полных людей лицо внезапно наливается кровью. Потом он начал на меня орать. А когда на меня орут, я теряю всякое самообладание. И он не унимался. У меня, мол, недопустимо расхлябанный вид — «расстегнутый воротник, нечищенные сапоги, фуражка валяется в грязи, да, да, в грязи», и я, мол, распускаю себя — курю сигарету за сигаретой, и уж не спутал ли я католического священника со сводником. Я был настолько возмущен, что совершенно перестал его бояться, только весь дрожал от злости. Я спросил его, какое ему дело до моего воротника, сапог, фуражки, и уж не думает ли он, что призван заменять моего унтер-офицера.

— И вообще, — сказал я, — вы все твердите, что к вам надо идти со всеми своими заботами, а вот когда обращаешься к кому-нибудь из вашей братии, вы словно с цепи срываетесь.

— Что за наглость! — в ярости зашипел он. — Что за тон! Мы как будто еще не побратались.

— Да, вы правы, — сказал я. Что ему было до идей христианства.

Я поднял с земли фуражку, надел ее, не отряхнув, и неторопливым шагом пересек церковную площадь. Он крикнул мне вслед, чтобы я хоть воротник-то застегнул, что грешно быть таким ожесточенным; я хотел было обернуться и крикнуть в ответ, что ожесточен он, а не я, но вовремя вспомнил слова матери: «Ладно уж, говори правду священнику, но дерзости все же лучше оставляй при себе», и, не оборачиваясь, направился в город. Крючка на воротах я так и не застегнул, я шел и думал о католиках: ведь началась война, а они глядят на воротники да на сапоги; они все твердят, чтобы обращались к ним со всеми своими заботами, а только сунешься, как их охватывает ярость.

Я медленно брел по улицам в поисках кафе, в котором никому не надо было бы отдавать честь. Эти

идиотские приветствия отравляли мне все удовольствие от кафе; я разглядывал всех встречных девушек, даже оборачивался им вслед и смотрел на ноги, но не было ни одной, в чьем голосе не зазвучали бы брачные ноты. Я был в отчаянии, я думал о Лео, о своей девочке из Кельна, я чуть было не решил послать ей телеграмму. Я был почти готов рискнуть жениться на ней только ради того, чтобы оказаться с девушкой наедине. Я остановился у витрины фотоателье, чтобы спокойно подумать о Лео. Я боялся за него. В стекле я увидел свое отражение — грязные сапоги, расхлястанный ворот — и поднял было руки, чтобы застегнуть крючок, но потом подумал, что это ни к чему, и снова опустил руки. Фотографии в витрине производили тяжкое впечатление — почти сплошь портреты солдат в парадной форме, кое-кто даже в касках, и когда я размышлял над тем, какие же из этих физиономий угнетают меня больше — те, что в касках, или те, что в фуражках, из дверей ателье вышел фельдфебель, неся под мышкой фотографию в рамке; фотография была большого формата, не меньше чем шестьдесят на восемьдесят, а рамка из блестящего серебристого багета; фельдфебель снялся в парадном мундире и в каске. Он был еще очень молод, не намного старше меня, ему было никак не больше двадцати одного, сперва он хотел пройти мимо, но потом почему-то остановился с несколько смущенным видом, и пока я колебался, надо ли поднять руку и приветствовать его, он сказал:

— Да брось, но вот воротник я на твоём месте застегнул бы, и мундир тоже, можешь нарваться на такого, который спуску не даст.

Потом он рассмеялся и ушел. С тех пор я отдаю некоторое предпочтение тем, кто фотографируется в касках, а не в фуражках.

Вот бы с Лео стоять сейчас перед витриной и разглядывать эти снимки! Кроме портретов военных, в витрине висело еще несколько фотографий новобрачных, детей после первого причастия и студентов с корпоративными значками, опоясанных лента-

ми с пивными пробками на концах; я долго думал, почему они не обвязывают этими лентами голову, кое-кому из них это, пожалуй, пошло бы... Мне нужно было общество, а его у меня не было.

Капеллан, видно, подумал, что я либо страдаю от сексуального голода, либо антиклерикально настроенный нацист; но я не страдал от сексуального голода и не был ни антиклерикалом, ни нацистом. Я всего-навсего нуждался в обществе, и притом не в мужском; это было настолько просто, что казалось немислимо сложным; конечно, в городе было полно доступных девиц и даже проституток (это ведь был католический город), но доступные девицы и проститутки в одинаковой мере обижаются, когда ты не испытываешь сексуального голода.

Я долго торчал перед витриной фотоателье. По сей день в чужих городах я всегда рассматриваю фотовитрины. Они везде выглядят примерно одинаково и везде производят примерно то же угнетающее впечатление, хотя не везде есть портреты студентов с корпоративными значками. Было уже около часа, когда я, наконец, двинулся дальше в поисках кафе, где никого не надо приветствовать, но они в своих мундирах заполнили все кафе, и в конце концов я пошел в кино на первый сеанс, в час пятнадцать. Помню только хронику: очень неблагородного вида поляки измывались над очень благородного вида немцами; в зале было так пусто, что я без опаски мог курить; последнее воскресенье августа 1939 года выдалось очень жаркое.

Когда я вернулся в казарму, три уже давным-давно пробило, но по какой-то причине приказ начать в три часа раскладывать в конюшне плащ-палатки, котелки, миски и подворотнички был отменен; я пришел как раз вовремя, чтобы успеть переодеться, пожевать хлеба с ливерной колбасой, несколько минут полежать на подоконнике и услышать обрывки разговоров об Эрнсте Юнгере — с одной стороны, о женском теле — с другой, обе эти темы обсуж-

дались теперь еще серьезней и еще скучней. Фельдшер и приказчик вплетали в свои рассуждения латинские названия — и без того гнусный их разговор становился еще гнуснее.

В четыре часа нас собрали во дворе, и я было подумал, что нам снова придется перегружать сапоги из автомашин в товарные вагоны или из товарных вагонов в автомашины, но на этот раз нас заставили перетаскивать картонные коробки из-под стирального порошка «Персиль» из спортивного зала, где они были сложены штабелями, на грузовики, а потом из грузовиков в почтовый склад, где их тоже укладывали в штабеля. Коробки были не тяжелые, с адресами, напечатанными на машинке; мы становились цепочкой, и одна за другой все эти картонки прошли через мои руки; этой работой мы занимались весь воскресный вечер до поздней ночи, почти без «мертвых минут», так что некогда было даже перекусить; нагрузив машину картонками, мы ехали на почту, снова выстраивались цепочкой и принимались за разгрузку. Иногда мы дорогой обгоняли колонну пехоты с оркестром во главе, игравшим «Ах, зачем, ах, зачем», или же колонна попадалась нам навстречу; у них появилось уже три духовых оркестра, и дело шло быстрее. Было уже поздно, далеко за полночь, когда мы вывезли из казармы последние картонки, — и руки мои, еще помнившие, какую прорву котелков и мисок им пришлось перетаскать, едва ли ощущали разницу между котелками и картонками из-под «Персиля».

Я страшно устал и хотел было тут же, не раздеваясь, завалиться на койку, но на столе снова появилась гора хлеба, ливерной колбасы, мармелада и масла, и наши решили немедленно приступить к дежжке; мне нужны были только сигареты, но пришлось ждать, пока продукты не были разделены со скрупулезной точностью, потому что ефрейтор, конечно, снова оставил сигареты напоследок; он делал все невероятно медленно, то ли для того, чтобы приучить меня к умеренности и дисциплине, то ли

чтобы выразить свое презрение к моим желаниям; когда же я, наконец, получил вождеденные сигареты, я растянулся, в чем был, на койке, закурил и стал смотреть, как они мажут ливерную колбасу на хлеб, и слушать, как они похваляют полученное масло и вяло спорят о том, из чего сделан мармелад: из клубники, яблок и абрикосов или только из клубники и яблок. Они ели очень долго, и я никак не мог уснуть; потом я услышал приближающиеся шаги в коридоре и сразу понял, что это ко мне: мне стало страшно, и в то же время я испытывал облегчение, но удивительно было то, что все сидевшие за столом — приказчик, фельдшер и троица учителей — вдруг перестали жевать и уставились на меня; и тут ефрейтор решил, что настал момент на меня наорать; он вскочил с места и крикнул:

— Какого же черта вы сапоги не снимаете?..

Есть вещи, в которые трудно поверить, даже сегодня мне еще не верится, хотя я слышал собственными ушами, что он ни с того ни с сего обратился ко мне на «вы»; мне вообще было бы приятней, если бы мы с самого начала говорили друг другу «вы», но это неожиданное «вы» прозвучало так комично, что впервые с тех пор, как началась война, я рассмеялся. Тем временем дверь распахнулась, и у моей койки очутился ротный писарь, он был очень взволнован и, должно быть, потому не отчитал меня за то, что я валялся в сапогах и мундире, да еще курил. Он только сказал:

— Вам приказано через двадцать минут явиться в проходном снаряжении к четвертому строению. Ясно?

Я ответил:

— Да.

И тогда он добавил:

— Там доложите ротному фельдфебелю.

И я снова сказал «да» и принялся все выгребать из моего шкафчика, и как раз когда я засовывал фотографию своей девушки в карман брюк, я вдруг снова услышал голос ротного писаря — оказывается, он все еще стоял здесь.

— Я должен сообщить вам печальную новость, да, печальную, хотя вам есть чем гордиться: первый павший на поле боя из нашего полка — это ваш сосед по койке, унтер-офицер Лео Зимерс.

На второй половине фразы я обернулся к ротному писарю, и теперь все они, и он в том числе, уставились на меня. Я почувствовал, что бледнею, и не знал, дать ли волю охватившему меня гневу или молчать; потом я тихо сказал:

— Ведь еще не объявлена война... Он не мог быть убит... И он не был бы убит...

И вдруг я заорал:

— Лео не убьешь! Нет, нет... Вы это прекрасно знаете!

Никто ничего не сказал, и унтер-офицер тоже, и пока я продолжал выгребать из шкафчика и засовывать в ранец все, что полагалось, я услышал, что он вышел в коридор. Я поставил ранец на табуретку, чтобы мне не надо было к ним оборачиваться, их словно не было в комнате, даже чавканья их я не слышал. Собрался я очень быстро. Хлеб, ливерную колбасу, сыр и масло я оставил в шкафчике и запер его на ключ. Когда мне все же пришлось обернуться, я обнаружил, что они умудрились без единого звука разобрать свои койки и улечься в постель. Я кинул ключ от шкафчика приказчику и сказал:

— Все, что там осталось, — твое.

Хоть он был мне несимпатичен, все же был чем-то симпатичнее остальных четырех; потом я сожалел о том, что не ушел молча, но ведь мне не было еще и двадцати. Я хлопнул дверью, взял из пирамиды свою винтовку, спустился по лестнице и засек время по часам на штабном корпусе — без двух минут три. Было тихо и все еще тепло в этот последний понеделник августа 1939 года. Ключ от шкафчика Лео я выкинул во дворе казармы, когда шел к четвертому строению. Все уже выстроились на плацу, и оркестр занял свое место перед ротой, а офицер, всегда державший речь о сплоченности перед выступлением очередной части, шел через двор; он

снял фуражку, вытер пот со лба и снова надел ее. Он напомнил мне вагоновожатого, который перевозит дух на конечной остановке.

Ротный фельдфебель сам подошел ко мне и спросил:

— Вы из штаба?

Я ответил:

— Да.

Он кивнул; он был бледен, очень молод и немного растерян; я глядел мимо него, на темные, едва различимые шеренги. Собственно, различал я только блестящие трубы оркестра.

— Вы случайно не телефонист? — спросил меня фельдфебель. — Дело в том, что мы потеряли телефониста.

— Телефонист, — ответил я быстро и с воодушевлением, которое, видно, удивило его, потому что он посмотрел на меня вопросительно. — Да, да, практически я овладел этой специальностью.

— Хорошо, — сказал он, — тогда вы явились как нельзя более кстати. Пристройтесь где-нибудь к концу колонны, дорогой мы все уточним.

Я двинулся вправо, туда, где темно-серые шеренги, казалось, немного светлели; когда я подошел к ним вплотную, я даже узнал некоторые лица. Я стал в самом конце роты. Кто-то крикнул:

— Напра-во, шаго-ом марш!

И не успел я поднять ноги, как они все уже запели свое: «Ах, зачем, ах, зачем...»

В ТЕМНОТЕ

— Зажги свечу, — раздался в темноте чей-то голос.

Глухую тишину нарушали лишь те слабые невнятные шорохи, что всегда слышишь, когда лежащий рядом человек никак не может уснуть.

— Свечку, говорю, зажги, — настойчиво повторил тот же голос.

По звукам стало ясно, что кто-то повернулся, от-

кинул одеяло, встал — зашуршала солома, дыханье звучало теперь где-то сверху.

— Ну, в чем дело? — нетерпеливо спросил все тот же голос.

— Лейтенант приказал не зажигать свечу без крайней надобности, — робко ответил более молодой голос.

— Зажги, тебе говорят, сопляк паршивый! — прохрипел тот, что постарше.

Теперь уже оба стояли во весь рост, их головы были почти рядом, а струйки выдыхов не пересекались. Тот, что постарше, раздраженно сопел, пока молодой рылся в своем вещевом мешке, и успокоился только тогда, когда услышал скрип выдвигаемого спичечного коробка. Чиркнула спичка, и вспыхнуло пламя — скудный желтый огонек.

Они поглядели друг на друга. Всегда, когда вновь становилось светло, они прежде всего глядели друг на друга. Они хорошо знали друг друга, даже чересчур хорошо. Они готовы был возненавидеть друг друга оттого, что так хорошо друг друга знали, знали вплоть до запаха чуть ли не каждой поры, и все же, когда становилось светло, они глядели друг на друга — тот, что постарше, и молодой. Молодой был худ, тонок, с неприметным бледным лицом, тот, что постарше, тоже был худ, да и лицо у него было такое же неприметное, только что небритое.

— Ну, — сказал старший уже спокойнее, — как тебе втемашить в башку, что не все приказы лейтенанта надо выполнять?

— Он разорется... — начал было молодой.

— Ни черта не разорется, — резко оборвал его старший и прикурил от свечки. — Он и слова не скажет. А если что, ты скажешь, что это я, мол, зажег. Пусть меня дожидается. Ясно?..

— Так точно, ясно.

— Да брось ты это дерьмовое «так точно». Отвечай мне просто «да». И всегда снимай ремень перед сном.

Молодой со страхом поглядел на него, потом снял ремень и кинул рядом с собой на солому.

— Скатай шинель и положи под голову... Вот так... А теперь спи. Когда надо будет помирать, я тебя разбужу...

Молодой повернулся на бок, подтянул колени к подбородку и зажмурил глаза, из-под одеяла выглядывали копна взъерошенных каштановых волос, очень тонкая шея и плечи с солдатскими погонями. Слабое пламя свечи билось в окопе, словно желтая бабочка, не знающая, куда ей сесть.

Тот, что постарше, все еще сидел и остервенело курил; клубы дыма тут же поглощались сырой земляной стеной укрытия. Стена была темно-коричневая, кое-где прочеркнутая белыми, рассеченными лопатой корнями, с бордюром из каких-то луковичных корневищ поверху. Несколько досок с наброшенной на них плащ-палаткой служили потолком укрытия; в щелях между неплотно уложенными досками плащ-палатка провисала — на нее была насыпана тяжелая мокрая земля. Лил дождь, и от стен их окопа шел пар. Тот, что постарше, сидел, по-прежнему упершись взглядом в земляную стену, и вдруг заметил поблескивающую тоненькую струйку воды, которая сочилась сверху из-под перекрытия. Сперва ее задерживали неровности стены, но струйка все набухла и обтекла, наконец, эти комки земли; следующим препятствием для струйки были упершиеся в стену солдатские сапоги; вода окружила их с трех сторон, так что они выглядели прямо-таки полуостровом. Солдат постарше сплюнул окурок в лужицу и прикурил о свечку другую сигарету, а свечу поставил подле себя на ящик с пулеметными лентами. Теперь та часть укрытия, где лежал молодой, снова погрузилась во тьму; неровное вздрагивающее пламя освещало ее лишь на какие-то миги яркими, но все более редкими вспышками.

— Да засни же ты, наконец, черт бы тебя побрал! — сказал тот, что постарше. — Слышишь, ты должен поспать!

— Так точно, должен, — ответил тот слабым голосом, но все же было ясно, что он еще более далек ото сна, чем прежде, когда не горела свеча.

— Погоди минутку, — сказал тот, что постарше, смягчившись. — Еще одну сигарету выкурю и погашу свечу. Пусть нас затопит в кромешной тьме.

Он курил и поглядывал в темную часть укрытия, где лежал его товарищ. Лужа все увеличивалась; он сплюнул в нее второй окурок и прикурил новую сигарету; по дыханию рядом он понял, что парнишке заснуть никак не удается.

Тогда он взял лопату и соорудил у входа в укрытие земляной вал, а чуть ближе к середке — еще один. Лужу, в которой мокли его сапоги, он тоже засыпал, кинув туда лопату земли. Никаких звуков, кроме приглушенного шума дождя, не доносилось в блиндаж. Земля, которую навалили на плащ-палатку, постепенно насыщалась влагой, и сверху капало все больше.

— Черт те что, — пробурчал тот, что старше. — Уснул ты наконец?

— Нет.

Тот, что старше, кинул третий окурок за земляную насыпь и задул свечку. Затем натянул на себя одеяло, поудобнее разместил ноги и, тяжело вздохнув, улегся. Было совсем тихо, совсем темно, и тишину снова нарушали только те невнятные шорохи, что всегда раздаются, когда лежащий рядом человек никак не может уснуть.

— Вилли ранен, — сказал вдруг тот, что моложе, после нескольких минут молчания. Голос его был ничуть не сонный, даже бодрый.

— Ну да! — удивился тот, что постарше.

— Точно, ранен, — чуть ли не с торжеством подтвердил молодой. Он был явно рад, что может сообщить важную новость, которая еще не дошла до товарища. — Его ранило, когда он оправлялся.

— Скажи-ка! — снова удивился тот, что постарше, и снова выдохнул. — Ну и везет же некоторым, чертовски везет! Вчера вернулся с побывки, а сегодня уже ранен, да еще когда оправлялся! Красота! Здорово его стукнуло?

— Нет, — со смехом ответил молодой. — Но и не легко — перебита кость руки.

— Перебита кость руки! Только вчера вернулся из отпуска, пошел оправиться, и хлоп, перелом руки. Ох, и везет же некоторым! Ну, а как дело-то было?

— Пошли они, значит, вечером к роднику, — с увлечением принялся рассказывать парнишка. — Набрали воды в канистры и только стали спускаться вниз по склону, как Вилли обратился к фельдфебелю Шуберту: «Разрешите оправиться, господин фельдфебель». — «Придется потерпеть», — отвечает фельдфебель. Но Вилли было уже невтерпеж, он отбежал на несколько шагов, спустил портки, а тут как бабахнет! Граната. Ребятам пришлось натягивать ему штаны. Левая рука у него была перебита осколком, правой он поддерживал левую; так с полуспущенными штанами и доковылял до санитаря. Тут они принялись хохотать, все хохотали, даже сам фельдфебель Шуберт.

Последние слова он добавил смущенно, словно хотел извиниться за собственный смех, который был не в силах сдержать.

Но тот, что постарше, не смеялся.

— Света! — вдруг гаркнул он. — Давай сюда коробок. Хочу света!

Он чиркнул спичкой и продолжал раздраженно:

— Раз уж меня никак не ранит, то пусть будет хоть светло! Хоть светло! Они обязаны обеспечить нас свечами, если хотят воевать. Хочу света! Света хочу! — заорал он снова и снова закурил.

Молодой приподнялся, достал банку тушенки, зажал ее между коленями и принялся ковырять в ней ложкой.

Освещенные желтым пламенем свечи, они молча сидели рядом.

Тот, что постарше, жадно курил, а молодой ел тушенку. Его детское лицо так и лоснилось от жира, а в растрепанных волосах застряли крошки. Куском хлеба он выскребал со стенок консервной банки налипший жир.

Вдруг стало совсем тихо: дождь прекратился. Они замерли и поглядели друг на друга — один с сига-

ретой в зубах, другой с куском хлеба в дрожащей руке... Тишина была невыносимая, и только несколько мгновений спустя, едва переведя дух, они услышали, что с плащ-палатки еще кое-где падали редкие капли.

— Черт возьми, интересно, стоит ли еще часовой на посту? — спросил тот, что постарше. — Что-то ничего не слышно.

Молодой сунул в рот хлеб, отшвырнул пустую банку в угол, на солому, и сказал:

— Не знаю. Они ведь должны предупредить, когда нам заступать.

Тот, что постарше, разом вскочил на ноги, задул свечу, надел каску и отодвинул плащ-палатку. В образовавшуюся щель в укрытие хлынул не свет, а холодная сырая темень. Тот, что постарше, загасил сигарету и высунул голову.

— Проклятье! Ни черта не видно! Эй! — громким шепотом позвал он. — Э-э-эй!

Потом его черная голова снова нырнула в укрытие, и он спросил:

— А где соседний блиндаж?

И тот, что моложе, поднялся на ноги и стоял теперь рядом с товарищем, тоже высунув голову в щель.

— Тсс! — вдруг резко и тихо приказал старший. — Кто-то ползет...

Они оба устали в темноту, туда, где был передний край. В глухой тишине и в самом деле слышно было, что кто-то ползет. И вдруг раздался такой странный звук, что оба вздрогнули: казалось, кто-то с размаху шмякнул об стенку живую кошку — это был хруст костей.

— Черт подери, — сказал старший. — Что-то здесь неладно... Где стоит часовой?

— Вон там, — ответил тот, что моложе, нащупал в темноте руку товарища и указал ею направо. — Там. Там и соседний блиндаж.

— погоди, — сказал тот, что постарше. — И дай-ка на всякий случай мой автомат.

Снова до них донесся ужасный хруст костей, и

в воцарившейся затем тишине они услышали, что кто-то ползет.

Старший двинулся по грязи, время от времени замирая и прислушиваясь, пока, наконец, отойдя от укрытия на несколько метров, не услышал еле уловимый звук голоса и не увидел слабое мерцанье света откуда-то из-под земли; он ощупью нашел вход в блиндаж и позвал:

— Эй, малый!

Голос умолк, огонь тотчас погас, а потом чья-то рука отодвинула край плащ-палатки и над землей показалась голова.

— Что случилось?

— Где часовой?

— Как где? Вон там.

— Где, я спрашиваю?

— Эй, новичок! Эй!

Но ответа не было. Не было и слышно, чтобы кто-то полз. Вообще ничего не было слышно. Вокруг лежала темнота, густая немая темнота.

— Черт те что... Странно, — сказал человек, вынырнувший из земли. — Эй, ты... Алло! Он же только что стоял вот тут, в двух шагах от нашего укрытия.

Солдат вылез на поверхность земли и стоял теперь рядом с пришедшим.

— Там кто-то ползет, — сказал пришедший. — Это точно. Сейчас этот гад притаился.

— Надо поглядеть, — ответил тот, что вылез из земли. — Пойдем поглядим.

— Гм... Во всяком случае, тут должен стоять часовой.

— Вы и заступайте — ваш черед.

— Да, но...

— Тише!..

Было слышно, что шагах в двадцати от них кто-то ползет по земле.

— Что за дьявольщина!.. Правда, ползет, — сказал тот, что вылез из земли.

— Быть может, это иван... один из вчерашних... Очнулся теперь и пытается уползти.

— А может быть, их разведчик.

— Где же наш часовой, черт его дерит?

— Ну что, пошли посмотрим, что к чему?

— Пошли.

Словно по команде, они распластались на земле и поползли. Снизу все выглядело по-другому: всякий ничтожный бугорок казался горой, заслоняющей горизонт, и лишь иногда где-то впереди мелькала чуть более светлая тьма — небо. С pistolетами в руках продвигались они метр за метром по грязи.

— Фу ты, дьявольщина! — зашептал тот, что вылез из земли. — Тут валяются эти... вчерашние...

Пришедший тоже тронул рукой мертвеца — холодный, словно налитый свинцом мешок. Вдруг они замерли не дыша — совсем близко снова раздался этот чудовищный хруст — будто кто-то со всего маху дал кому-то по морде, потом они услышали чье-то сопенье.

— Эй, кто там? — крикнул тот, что вылез из земли.

В ответ на этот крик все звуки смолкли, чувствовалось, что кто-то совсем рядом сдерживает дыхание, и, наконец, раздался робкий голос:

— Это я.

— Фу ты, дьявольщина! Чего ты здесь делаешь, вонючая задница? Только людей пугаешь! — заорал тот, что вылез из земли.

— Я ищу тут кое-что...

Те, что ползли, встали и двинулись на голос.

— ...ищу себе башмаки, — продолжал объяснять тот, но они уже стояли над ним; их глаза привыкли к темноте, и они различали вокруг валяющиеся на земле трупы — штук десять-двенадцать, похожие на черные корявые пни, и над одним из этих пней стоял на коленях часовой и возился со шнурками.

— Какого черта ты не на своем посту? — сказал тот, что вылез из земли.

Вдруг пришедший кинулся на землю и склонился над мертвецом. Тогда часовой уткнул лицо в ладонь и принялся тихо и трусливо выть, словно зверь.

— Ой! — охнул пришедший и тихо добавил: — Зубы тебе нужны? Золотые коронки? Да?

— Что, что? — не поняв, переспросил тот, что вылез из земли. А часовой завыл еще громче.

— Ой! — снова вырвалось у пришедшего. Казалось, вся тяжесть земли придавила ему грудь.

— Зубы? — переспросил тот, что вылез из земли. Он тоже стремительно опустился на колени и вырвал из рук часового матерчатый мешочек.

— Ой! — только и произнес он и выразил в этом звуке всю меру человеческого отвращения.

Пришедший отвернулся, приставил дуло своего пистолета к голове часового и нажал курок.

— Зубы! — пробурчал он, когда отгремел выстрел. — Золотые зубы.

Они медленно поплелись назад и ступали очень осторожно, пока не отошли от того места, где валялись мертвецы.

— Теперь вам стоять, — сказал тот, что вылез из земли, прежде чем снова исчезнуть под землей. — Ваш черед.

— Да, — ответил пришедший, медленно побрел по грязи к своему блиндажу и тоже скрылся под землей.

Он сразу понял, что молодой все еще не спит, в тишине по-прежнему раздавались те слабые невнятные шорохи, которые всегда раздаются, когда лежащий рядом не может уснуть.

— Зажги свечу, — тихо сказал пришедший.

Желтое пламя, вздрогнув, слабо осветило их яму.

— Что случилось? — с ужасом спросил тот, что моложе, увидев лицо товарища.

— Нет часового, — сказал он. — Заступай!

— Хорошо, — послушно сказал парнишка. — Только дай мне, пожалуйста, часы, чтобы я вовремя разбудил подменного.

— На, держи.

Тот, что постарше, присел на солому и закурил. Он задумчиво глядел на мальчишку, который надел ремень, шинель, подвесил к поясу гранату и устал склонился над автоматом.

— Ну, все, — сказал малыш, — будь здоров!

— Будь здоров.

Тот, что постарше, задул свечу и остался в полной темноте, совсем один, в земле...

ОСТАНОВКА В X.

Когда я проснулся, меня охватило чувство полной потерянности: мне казалось, что я плыву в темноте, словно в лениво колыхающейся, но никуда не текущей воде. Будто труп, который волны навсегда вытолкнули из глубин на безжалостную поверхность, меня несло, слегка покачивая, и я не находил опоры в этой крошечной тьме. Я не чувствовал ни рук, ни ног — они как бы не принадлежали мне; обоняние, зрение, слух тоже были как бы выключены; нечего было видеть, нечего было слышать, ни единый запах не предлагал мне своей поддержки; лишь нежное прикосновение подушки к затылку связывало меня с действительностью, я ощущал только свою голову; мысли были кристально ясные, но чуть заглушенные той мучительной головной болью, которая всегда приходит после скверного вина.

Даже ее дыхания я не слышал, она спала тихо, как ребенок, и все же я знал, что она лежит рядом. Бессмысленной оказалась бы попытка протянуть руки и коснуться ее лица или шелковистых волос — ведь у меня больше не было рук, воспоминание было только памятью мысли, но не чувств, призрачной конструкции, не оставившей никакого следа в моей плоти.

Как часто шел я по самому краю действительности, бесстрашно, точно пьяный, с непостижимым равновесием шагающий по узкой тропинке над пропастью навстречу своей цели, красота которой озаряет его лицо; я брел по бульварам, скупо освещенным тусклым светом фонарей — нечеткий пунктир свинцово-серых огней едва обозначал контуры действительности, казалось, только затем, чтобы еще упорнее ее отрицать. Как слепец, тонул я в непро-

глядной черноте улиц — они кишели людьми, но я знал, что я один, один.

Один со своей головой, даже не со всей головой: рот, нос, глаза и уши были мертвы; один со своим мозгом, который старался собрать воспоминания, подобно тому как ребенок складывает из бессмысленных с виду кубиков кажущиеся бессмысленными постройки.

Она должна лежать рядом со мной, хотя я ее совсем не ощущаю.

Накануне я сошел с поезда, который помчался дальше, через Балканы, к Афинам, а у меня тут была пересадка, и мне пришлось ждать другого поезда, чтобы добраться до карпатских перевалов. Когда я тащился по платформе, не зная даже названия станции, мне повстречался пьяный солдат; одинокий в своем сером мундире среди пестро одетых венгров, мой соотечественник брел, шатаясь, и изрыгал чудовищные угрозы — они хлестали меня, как пощечины, которые потом всю жизнь жгут лицо.

— Суки продажные! — орал он. — Все до одного продажные суки!.. С меня хватит!.. Я сыт по горло!..

Под гогот венгров он громко выкрикивал ругательства, волоча свой тяжелый ранец к тому вагону, из которого я только что вылез.

В окне вагона показалась чья-то голова в каске.

— Поди-ка! Ха-ха! Поди-ка сюда!..

Тогда пьяный вытащил свой пистолет и прицелился в каску. Люди закричали, я схватил пьяного за руку, вырвал пистолет и сунул к себе в карман; парень отбивался что было сил, но я крепко держал его. Все орало — каска, венгры, пьяный парень, но поезд вдруг тронулся и укатил, а против уходящего поезда даже каски в большинстве случаев бессильны. Я отпустил солдата и, вернув ему пистолет, толкнул к выходу; он растерянно побрел впереди меня.

Маленький городок выглядел пустынным. Люди быстро разошлись, на привокзальной площади не было ни души. Какой-то усталый, грязный железнодорожник указал нам на невзрачный кабачок, притаив-

шийся в тени невысоких деревьев на той стороне пыльной площади. Мы скинули на пол наши ранцы, я заказал вино, то скверное вино, от которого сейчас, когда я проснулся, меня так мутит. Мой новый приятель сидел злой и молчал. Я предложил ему сигарету, мы закурили, и я принялся его разглядывать: на груди обычный набор фронтовых наград; молод, моих лет; светлые волосы, прикрывая плоский белый лоб, падали на глаза.

— Вот такая штука, парень, — сказал он вдруг. — Всем этим я сыт по горло, понимаешь?

Я кивнул.

— Так сыт, что даже сказать не могу, понимаешь? Я решил смываться...

Я взглянул на него.

— Да, — сказал он уже совершенно трезвым голосом. — Я смываюсь. Двину в пушту*. Я хорошо управляюсь с лошадьми и при нужде могу и суп сварить, пусть меня целуют в... Пойдешь со мной?

Я покачал головой.

— Что, боишься? Нет... Ну, дело твое. Я, во всяком случае, смываюсь. Будь здоров...

Он встал, но ранца почему-то не взял, бросил на стол смятую купюру, еще раз кивнул мне и вышел.

Я долго ждал его, я не верил, что он действительно смотался, ушел в пушту. Я стерег его ранец и ждал, пил это скверное вино и тщетно пытался завязать разговор с хозяином, глядел в окно на привокзальную площадь, по которой, вздымая клубы пыли, изредка проезжала телега, запряженная тощими клячами.

Потом я ел бифштекс, снова пил это скверное вино и курил сигару. Стало смеркаться. В распахнутую дверь ветер то и дело гнал пыль. Хозяин зевал и болтал с венграми, которые тоже пили вино.

Быстро темнело; мне никогда не вспомнить, что я успел передумать, пока я там сидел и ждал, пил вино, ел мясо, глядел на толстого хозяина, на привокзальную площадь и дымил сигарой...

* Пушта — венгерская степь.

Все это равнодушно воспроизвела моя память, извергнув мой мозг, пока меня до дурноты укачивала черная вода этой ночи, не знающей времени, — где-то в чужом доме, на неведомой улице, рядом с девушкой, лица которой я даже толком не разглядел...

Потом я быстро сбегал на вокзал и выяснил, что мой поезд уже ушел, а следующий будет только утром; я расплатился в кабачке, положил свои вещи рядом с ранцем того парня и в сгущающихся сумерках отправился шататься по улицам незнакомого городка. Со всех сторон на меня наступала серая, темно-серая мгла, и лишь в кругах тусклых фонарей лица прохожих казались живыми. И я снова где-то пил вино, на этот раз лучшее, чем то, с тоской глядел на серьезное лицо женщины за стойкой, вдыхал какой-то уютно-едкий запах, просачивавшийся из кухни, а потом, заплатив деньги, опять утонул в темных улицах.

«Эта жизнь, — думал я тогда, — не моя жизнь. Я должен играть эту жизнь как роль, и я бездарно ее играю». Стало уже совсем темно, ласковое небо висело над летним городом. Где-то шла война, невидимая и неслышная здесь, на тихих улочках с приземистыми домами, которые спали рядом с невысокими деревьями; где-то в этой полной тишине таилась война. Я был совершенно один в маленьком городке, люди вокруг не имели ко мне никакого отношения, эти крошечные деревца, наверное, вынули из коробки с игрушками и наклеили на ровные серые тротуары, а над всем низко парило небо, словно бесшумный воздушный корабль, который вот-вот рухнет на землю...

Вдруг под деревом я увидел лицо — оно, казалось, неярко светилось изнутри. Печальные глаза под копной легких волос, должно быть каштановых, хотя в ночи они выглядели серыми; бледная кожа, детский рот, должно быть красный, хотя в ночи и он выглядел серым.

— Пошли, — сказал я.

Я схватил ее за руку, это была человеческая ру-

ка; моя ладонь коснулась ее ладони, наши пальцы нашли друг друга и сплелись, пока мы брели в этом незнакомом городе, по незнакомой улице.

— Не зажигай света, — сказал я, когда мы оказались в комнате, в которой я теперь плыл, потертый в крошечной тьме.

В темноте я ощутил прикосновение мокрых от слез щек, сорвался и полетел в бездну, полетел так, как летишь с головокружительно крутой лестницы, мягкой, бархатной лестницы. Я падал все глубже и глубже, и все новые бездны разверзались подо мной...

Моя память сообщила мне, что все это было и что теперь я лежу на этой подушке, в этой комнате, рядом с ней, хотя и не слышу ее дыхания: она спит тихо, как ребенок. Господи, неужели я теперь только мозг?

Иногда темный поток, круживший меня, казалось, затихал, и тогда во мне вспыхивала надежда, что я проснусь, вновь почувствую свои ноги, вновь буду слышать и различать запахи, а не только думать; но стоило этой робкой надежде чуть возрасти и окрепнуть, как она снова начинала понемногу убывать, ибо черная вода опять принималась бурлить и, подхватив мое беспомощное тело, опять несла его вне времени и пространства, в омут полной потерянности.

Моя память сообщила мне также, что ночь имеет свои пределы, что ее неизбежно сменяет день. Она сообщила мне, что я могу пить, целовать, плакать и даже молиться, но ведь молиться нельзя одним мозгом. Я знал, что уже проснулся, что лежу в постели венгерской девчонки, на ее мягкой подушке, в очень темную ночь; все это я знал и все же был уверен, что мертв...

Это напоминало рассвет, когда развидняется медленно, так несказанно медленно, что за ним нельзя уследить; сперва думаешь, что ты ошибся: стоя темной ночью в окопе, трудно поверить, что нежная светлая полоска где-то за невидимым горизонтом и есть забрезжившее утро; думаешь, что ты ошибся, что это мираж, рожденный твоими усталыми воспа-

ленными глазами. И все же это и есть рассвет, который становится все явственней: воздух незаметно се-реет, свет прибывает исподволь, но прибывает, белесые пятна за горизонтом все расширяются, и ты волей-неволей понимаешь, что наступает день.

Я вдруг почувствовал, что озяб; одеяло сбилось в сторону, моим голым ногам стало холодно, и я почувствовал реальность этого холода; я глубоко вздохнул и ощутил свое собственное дыхание: струя воздуха коснулась моего подбородка; я наклонился вперед, ощупью нашел одеяло и прикрыл им ноги. У меня снова были руки, снова были ноги, я ощущал свое собственное дыхание. Потом я опустил левую руку в пропасть, выловил на дне ее свои брюки и услышал, как в кармане хрустнул спичечный коробок.

— Пожалуйста, не зажигай лампу, — произнес возле меня ее голос, и она тоже вздрогнула.

— Дать сигарету? — спросил я шепотом.

— Да, — ответила она.

При свете спички она казалась совсем желтой: темно-желтый рот, круглые, черные, испуганные глаза, кожа цвета светло-желтого песка, а волосы словно янтарный мед.

Трудно было разговаривать, неизвестно, с чего начать. Мы оба слышали, как течет время — удивительный густой гул, с которым уплывают секунды.

— О чем ты думаешь? — неожиданно спросила она.

Ее слова, подобно негромкому, но меткому выстрелу, попадающему точно в цель, прорвали какую-то преграду внутри меня, и я заговорил, прежде чем успел еще раз взглянуть ей в лицо, подсвеченное вспышками сигареты.

— Я думаю о том, кто будет лежать в этой комнате лет через семьдесят, кто будет сидеть или лежать там, где сейчас лежу я, и что он будет знать о нас с тобой... Ничего. Только то, что тогда была война, и все.

Мы оба швырнули наши окурки налево от кровати; они бесшумно упали на мои брюки; мне

пришлось стряхнуть их на пол, они валялись рядом, будто тлеющие угольки.

— А еще я думал о том, кто жил здесь семьдесят лет назад и что здесь тогда было. Может, поле, и на нем росла кукуруза или лук, вот прямо тут, под моей головой, и ветер колыхал зеленые стрелки, и каждое утро над горизонтом пушты брезжил этот печальный рассвет. А может быть, уже тогда здесь был чей-то дом.

— Да, — сказала она тихонько, — семьдесят лет назад здесь уже был дом.

Я промолчал.

— Да, — продолжала она, — кажется, именно семьдесят лет назад мой дед построил этот дом. В тот год у нас проложили железную дорогу, дед стал на ней работать, накопил денег и построил себе домишко. Потом он ушел на войну, на ту, знаешь, в четырнадцатом году, и погиб в России. А здесь остался отец... у нас было немного земли, и, кроме того, он тоже работал на железной дороге. Он умер в эту войну...

— Его убили?

— Нет, он умер. А мать моя умерла еще раньше. Теперь здесь живет мой брат с женой и детьми. А через семьдесят лет будут жить правнуки моего брата.

— Возможно, — сказал я, — но они ничего не будут знать о тебе и обо мне.

— Да, ни один человек не узнает, что ты был у меня.

Я взял ее маленькую руку, очень нежную маленькую руку, и поднес к своему лицу.

Проем окна был заполнен густо-серой мглой, чуть более светлой, чем ночная тьма.

Вдруг я почувствовал, что она встала с кровати, хотя она и не коснулась меня, и уловил легкие шаги ее босых ног; потом понял, что она одевается, хотя ее движения и все шорохи, которые их сопровождали, были почти неслышны; только когда она, заведя руки за спину, застегивала пуговицы на блузке, до меня донеслось ее прерывистое дыхание.

— Теперь ты должен одеться, — сказала она.

— Я еще полежу.

— Я хотела бы зажечь свет.

— Не зажигай, я еще полежу.

— Но тебе же надо поесть перед уходом.

— Я никуда не уйду.

Я снова почувствовал, что она, так и не надев туфлю, изумленно уставилась туда, где я лежал.

— Вот как, — только и сказала она тихо, и я не понял, испугана она или удивлена.

Повернув голову, я мог теперь уже различить на темно-сером фоне окна очертание ее фигуры. Неловко двигаясь по комнате, она поднесла к печке дрова и бумагу, вынула коробок спичек из кармана моих брюк.

Эти шорохи доносились до меня, как тихий тревожный зов человека, стоящего на берегу, зов, обращенный к другому, которого течение несет в омут. И я теперь твердо знал, что если я тотчас не встану, если я не решусь немедленно покинуть этот мерно колыхающийся плот потерянности, я либо умру вот здесь на кровати, разбитый параличом, либо меня пристрелят на этой подушке неумолимые сыщики, от которых нигде не скроешься.

Я слышал, как она невнятно что-то напевала, стоя у печки и глядя в огонь, беззвучно трепетавший красными крыльями, и мне казалось, что между нами лежит больше, нежели целый мир. Она находилась где-то на самом краю моей жизни, напевала что-то про себя и радовалась разгорающемуся пламени; я все это понимал, слышал это, видел это, вдыхал чад паленой бумаги, и все же нигде она не была бы дальше от меня, чем сейчас, когда нас разделяли всего несколько шагов.

— Ну вставай же! — сказала она, не отходя от печки. — Тебе надо идти.

Я услышал, как она поставила кастрюлю на огонь и принялась что-то размешивать; это были ласковые и тихие звуки — глухое поскребыванье деревянной ложки о днище, — и запах поджаренной муки заполнил комнату.

Теперь я уже все видел. Комната была очень маленькая. Я лежал на низкой деревянной кровати, рядом стоял шкаф, который занимал стену до двери, простой коричневый шкаф, без всяких украшений. Стол, стулья и печурка находились, видимо, где-то позади меня. Было очень тихо, густая предрассветная мгла еще затеняла комнату.

— Прощу тебя, — сказала она шепотом. — Мне надо уйти.

— Тебе?

— Да, на работу, и ты должен выйти вместе со мной.

— Работать? — переспросил я. — Зачем?

— О, что ты спрашиваешь!

— А где ты работаешь?

— На железной дороге.

— На железной дороге? Что же вы там делаете?

— Насыпаем щебень между шпалами, балласт, чтобы не случилось беды.

— И так не случится, — сказал я. — На каком ты участке? В сторону Гросвардейна?

— Нет, в сторону Чегедина.

— Это хорошо.

— Почему?

— Потому что тогда я не проеду мимо тебя.

Она тихо рассмеялась.

— Значит, ты все-таки собираешься встать?

— Да, — сказал я.

Я еще раз закрыл глаза и вновь опрокинулся в то зыбкое небытие, где нет запахов, где нет ничего, кроме тихого плеска, который я ощущал как слабое, едва уловимое дуновение. Потом я со вздохом открыл глаза и потянулся за брюками — они лежали теперь, аккуратно сложенные, на стуле возле кровати.

— Да, — сказал я снова и вскочил на ноги.

Она стояла у печки, спиной ко мне, пока я быстро, привычными движениями натягивал брюки, завязывал шнурки на ботинках, застегивал серый мундир.

С минуту я, не двигаясь, с незажженной сигаретой в губах глядел на теперь уже четко рисовавшуюся

на фоне окна маленькую, тоненькую фигурку. Волосы у нее были красивые и пышные, как спокойное пламя.

Повернувшись ко мне, она улыбнулась.

— О чем ты опять думаешь? — спросила она.

Я впервые взглянул ей в лицо. Оно было таким бесхитростным, что я оторопел; круглые глаза, в которых страх был страхом, а радость — радостью.

— О чем ты опять думаешь? — спросила она еще раз, уже не улыбаясь.

— Ни о чем. Я не могу ни о чем думать, мне надо идти. Выхода нет.

— Да, — сказала она и кивнула. — Ты должен идти. Выхода нет.

— А ты должна остаться здесь.

— Да, я должна остаться здесь.

— Ты должна насыпать щебень между шпалами, балласт, чтобы здесь не случилось беды и поезда могли бы спокойно доехать туда, где беда уже случилась.

— Да, — сказала она, — я должна.

По очень тихой улочке мы спустились к вокзалу. Все улицы ведут к вокзалам, откуда отправляются на войну. Дорогой мы зашли в какой-то подъезд и целовались, и там я почувствовал, когда мои руки лежали на ее плечах, — там я почувствовал, что она мся. И она ушла, опустив плечи, и ни разу не оглянулась.

Она совсем одна в этом городе, и хотя мне, как и ей, нужно добраться до вокзала, я не могу идти вместе с ней. Я должен ждать, пока она не скроется вон за тем углом, за последним деревом этой короткой аллеи, залитой теперь неумолимым светом. Я должен ждать и могу идти за ней только на большем расстоянии, и я никогда уже ее не увижу. Я должен поспеть на этот поезд, на эту войну...

Теперь, когда я иду на вокзал, мой единственный багаж — это руки, засунутые в карманы, и окурочек последней сигареты в зубах, который я скоро выплюну; но легче быть без багажа, когда медленно, нетвердой походкой снова идешь по самому краю и

в какое-то мгновение непременно сорвешься в пропасть, туда, где будем мы все...

Одно утешение, что поезд пришел вовремя и веселся запыхтел между кукурузными полями и остро пахнущими грядками помидоров.

ВЫПИВКА В ПЕТЕКИ

Солдат почувствовал, что он, наконец, напился. Вместе с тем он со всей отчетливостью вдруг понял, что в кармане у него уже нет ни гроша и что расплатиться ему нечем. Его мысли были поразительно ясны, и все вокруг он видел на редкость четко; толстая хозяйка сидела в полутьме за стойкой и вязала, явно напрягая свои близорукие глаза; при этом она вполголоса беседовала с женщиной, у которого были настоящие мадьярские усы; да, тут ничего не скажешь, типичное, чуть ли не опереточное лицо, отдающее пуштой и паприкой; зато хозяйка выглядела чересчур добропорядочной и своей неподвижностью и благопристойностью напоминала скорее немку, чем венгерку. Язык, на котором они говорили, был непонятен в той же мере, в какой поражал обилием гортанных звуков, был настолько же страстный, насколько чужой и красивый. В помещении царил густой зеленый полумрак из-за тесно посаженных каштанов вдоль аллеи, ведущей к вокзалу; великолепный густой зеленый полумрак, напоминающий абсент и создающий удивительный уют. Мужчина с невероятными усами примостился на стуле, удобно облокотившись о стойку.

Все это солдат видел очень четко и вместе с тем знал, что не сможет дойти до стойки, не споткнувшись. «Наверное, скоро пройдет», — подумал он, громко рассмеялся, крикнул: «Алло!», поднял свой стакан, протянул его хозяйке и сказал по-немецки:

— Пожалуйста.

Хозяйка медленно поднялась со стула, так же медленно отложила вязанье и, улыбаясь, направилась к нему с графином в руке; венгр тоже обернулся и

принялся разглядывать ордена на груди солдата. Женщина шла вразвалку, она была почти квадратная, лицо ее сияло благодушием, а на носу красовалось пенсне на черном шнурке, с толстыми стеклами; вид у нее был нездоровый, она казалась сердечницей, да и ноги у нее, должно быть, болели: наливая вино в стакан, она приподняла одну ногу и, чтобы не потерять равновесие, оперлась рукой о стол; потом она произнесла совершенно непонятную фразу по-венгерски, означавшую, видно, что-то вроде «на здоровье», «в добрый час», а может, просто «сын» или другое ласковое слово из тех, которые старые женщины обычно говорят солдатам...

Солдат закурил и отхлебнул большой глоток из своего стакана. Постепенно комната закружилась у него перед глазами; толстая хозяйка повисла как-то косо под потолком, старый ржавый прилавок будто взвился на дыбы, а мало пивший венгр запрыгал вдоль карниза, словно дрессированная обезьяна. В следующее мгновение все опрокинулось в другую сторону, солдат громко рассмеялся, крикнул: «Ваше здоровье!», отхлебнул глоток вина, потом еще один и закурил новую сигарету.

Отворилась дверь, и вошел еще один венгр — толстый коротышка с хитринкой в лице, напоминающим по форме луковицу, над верхней губой топорщились крохотные усики. Он с трудом перевел дух, кинул шапку на ближайший столик и сел на табуретку у стойки. Хозяйка налила ему пива.

Их тихий разговор в три голоса ласкал слух, казался каким-то таинственным гулом на краю иного мира. Солдат сделал еще один большой глоток, поставил пустой стакан, и все вокруг опять оказалось на своих местах. Солдат чувствовал себя почти счастливым, он снова поднял свой стакан и снова сказал по-немецки:

— Пожалуйста.

Женщина налила ему еще вина.

«Я выпил, наверное, уже стаканов десять, — думал солдат. — Хватит. Я так великолепно пьян, что почти счастлив».

Зеленые сумерки сгустились, дальние углы были наполнены плотной темно-синей тьмой. «Позор, — думал солдат, — позор, что здесь не сидят любовные парочки. Этот кабачок просто создан для влюбленных — сидеть здесь в эти чудесные зелено-синие сумерки. Это позор, позор! Сколько влюбленных, которые сейчас шатаются где-то по свету, среди людей, и не знают, куда приткнуться, а ведь в этом кабачке можно было бы так уютно болтать за стаканом вина и целоваться...»

«Господи, — думал еще солдат, — здесь могла бы быть музыка, а во всех этих чудесных темных зелено-синих углах могли бы сидеть парочки, а я, я мог бы спеть песню. Да, черт побери, я прекрасно мог бы спеть песню. Я очень счастлив, и я пел бы для влюбленных и перестал бы думать о войне. Теперь я все-таки немного думаю об этой гнусной войне. А тогда я совсем бы перестал думать о войне».

Он поглядел на часы — было половина восьмого. В его распоряжении оставалось еще двадцать минут. Он снова отхлебнул прохладного терпкого вина, и вдруг перед его глазами как бы поставили увеличительные стекла: все вокруг приблизилось, стало четче, неподвижней, а по его телу разлилось великолепное, сладостное опьянение. Он теперь увидел, что мужчины у стойки — бедняки, пастухи или рабочие, что у них залатанные штаны, а лица усталые, покорные, несмотря на топорщащиеся усы и хитрый прищур глаз.

«Черт подери, — думал солдат, — как ужасно было тогда: стоял собачий холод, и я должен был уехать; вокруг повсюду свет и ослепительный снег; у нас оставалось еще несколько минут, но не было уголка, темного, прекрасного, человеческого уголка, где можно было бы обняться и целоваться; был только холод и свет!»

— Пожалуйста! — крикнул он хозяйке; пока она шла, он поглядел на часы. Оставалось еще десять минут. Хозяйка хотела долить вина в его полупустой стакан, но он накрыл его рукой, улыбаясь, покачал головой и потер указательным пальцем о большой.

— Счет, — сказал он. — Сколько пенго?

Потом он очень медленно снял мундир, стянул с себя великолепный черный свитер с высоким воротником и положил его на столик рядом с часами.

Мужчины у стойки приумолкли и усталились на него, хозяйка тоже казалась испуганной. Она с опаской написала цифру «14» прямо на столе. Солдат положил руку на ее толстый теплый локоть, а другой взял свитер, высоко поднял его и с улыбкой спросил:

— Сколько?

И он снова потер указательным пальцем о большой и добавил:

— Пенго.

Женщина поглядела на него, укоризненно покачала головой, но он только пожал плечами и так долго твердил ей, что у него нет денег, что она, наконец, нерешительно взяла его свитер, вывернула наизнанку и сосредоточенно стала рассматривать, даже почему-то нюхать. Она поморщила нос, улыбнулась и быстро написала карандашом «30» рядом с «14». Солдат отпустил ее теплый локоть, кивнул в знак согласия, взял стакан и выпил еще глоток.

Когда хозяйка вернулась к стойке и оживленно заговорила о чем-то с двумя венграми на своем гортанном языке, солдат открыл рот и запел. Он пел «Поеду в Страсбург» и вдруг почувствовал, что поет хорошо, впервые в жизни хорошо, и вместе с тем он почувствовал, что снова сильно опьянел, и все опять тихо закружилось перед глазами, но при этом он снова посмотрел на часы и установил, что у него осталось всего три минуты, чтобы петь и быть счастливым, и затянул новую песню: «Инсбрук, я должен тебя покинуть», засовывая в карман деньги, которые хозяйка положила перед ним на столике.

В кабачке стало очень тихо, оба венгра с залатанными штанами и усталыми лицами повернулись к нему, и хозяйка, возвращавшаяся на свое место, тоже остановилась и слушала тихо и серьезно, как ребенок.

Потом солдат осушил свой стакан, закурил еще

одну сигарету и почувствовал, что не сумеет идти прямо. Но прежде чем покинуть кабачок, он положил на стойку одну из полученных бумажек, указал на венгров и сказал:

— Пожалуйста.

И все трое смотрели ему вслед, когда он открыл, наконец, дверь и пошел по каштановой аллее, которая вела к вокзалу и была погружена в бесценные, густые зелено-синие сумерки, прямо созданные для того, чтобы обниматься и целоваться.

ЯЩИК ДЛЯ КОПА

Вернувшись с вокзала, Ласнов рассказал, что для Копы прибыла посылка. Каждое утро Ласнов ходил встречать поезд из России и торговал с солдатами. В первый год он выменивал у них на сливочное и на постное масло носки, сахарин, соль, спички и кремни для зажигалок и, как это обычно бывает при обменах такого рода, изрядно наживался; потом установился более или менее твердый курс, расчеты производились уже наличными деньгами, которые по мере того, как Великой Германии изменяло военное счастье, все больше обесценивались, но тем не менее за каждый грош шла жестокая торговля. К тому же ни сливочного масла, ни постного больше не было, а тем паче — толстых кусков сала, за которые в первое время можно было легко получить двухспальный французский матрац. Торговля стала тяжелым, неприятным, изнурительным делом с той поры, как солдаты начали с презрением относиться к деньгам. Они только посмеивались, когда Ласнов с толстой пачкой купюр в руке бежал вдоль поезда и надрывно, на одной ноте кричал в открытые окна:

— Покупаю все по самым высоким ценам! Все по самым высоким ценам!

Лишь изредка попадался новобранец, который, соблазнившись деньгами, стягивал с себя шинель или нижнюю сорочку. И уже совсем редкими стали дни, когда Ласнову приходилось торговаться из-за

какой-нибудь крупной вещи — пистолета, часов или подзорной трубы, — торговаться так долго, что он вынужден был давать взятку начальнику станции, который задерживал отправку поезда до тех пор, пока сделка не состоится. Сперва каждая минута такой задержки стоила марку, но жадный, охочий до выпивки начальник уже давным-давно повысил цену до шести марок.

В то утро Ласнову так и не удалось обделать ни одного дельца. Железнодорожный жандарм, свернув свои ручные часы с карманными начальника станции, все время ходил взад-вперед по платформе; он накинулся на оборванного мальчишку, который рыскал вокруг вагонов в поисках окурков; но солдаты уже давно перестали выбрасывать окурки; словно скряги, они бережно счищали с них черный нагар и прятали, как драгоценность, в свои кисеты; с хлебом они тоже стали обращаться крайне бережно, и когда мальчишка, так и не найдя ни крошки табака, снова побежал вдоль поезда, размахивая руками и выкрикивая монотонно-плаксивым голосом, чтобы произвести побольше впечатления: «Подайте корочку хлебушка!», он получил лишь пинок от жандарма; поезд тронулся, и он, так ничего и не добыв, уселся на каменной стене, но в это мгновение к его ногам упал бумажный мешочек, в котором оказался кусок хлеба и яблоко. Мальчишка усмехнулся, увидев, что Ласнов двинулся в зал ожидания; там было пусто и холодно. Ласнов снова вышел на перрон и остановился в нерешительности. Ему вдруг показалось, что поезд должен только еще прийти: слишком уж быстро он тронулся, точно по расписанию, без всяких происшествий, ему даже послышалось полязгивание буферов — вот сейчас будет сигнал к остановке.

Ласнов испугался, когда чья-то рука опустилась на его плечо; рука была чересчур легка, чтобы принадлежать начальнику станции, это оказалась рука мальчишки, который, протянув надкусанное яблоко, задорно выпалил:

— Яблочко-то кислое, ой, до чего кислое, но вот сколько ты мне дашь за эту вещь?

Он вытащил из левого кармана красную зубную щетку и протянул Ласнову. Ласнов открыл рот и невольно провел указательным пальцем по своим крепким, давно не чищенным зубам; закрыв рот, он взял у мальчишки щетку и стал ее разглядывать: красная ручка была прозрачной, а щетина — белой и жесткой.

— Прекрасный рождественский подарок для твоей жены, — сказал мальчишка. — У нее такие красивые белые зубы.

— Слушай, парень, — тихо спросил Ласнов, — какое тебе дело до зубов моей жены?

— И детям сгодится, — продолжал мальчишка. — Ручка-то прозрачная.

Он взял у Ласнова из рук щетку, поднес к глазам и поглядел через нее на Ласнова, на вокзал, на деревья, на разрушенный сахарный завод и снова протянул ее Ласнову.

— Погляди сам, — сказал он. — Красиво.

Ласнов взял щетку и тоже поднес к глазам; ручка искажала изображение: вокзал стал похож на вытянутый амбар, деревья на обломанные метлы, лицо мальчика перекосила гримаса, а яблоко, которое он поднес ко рту, выглядело, как красноватая губка. Ласнов вернул мальчишке щетку.

— Да, — подтвердил он, — в самом деле красиво.

— Десять, — сказал мальчишка.

— Две.

— Нет, — плаксиво запротестовал мальчишка, — нет, нет, она слишком красивая.

Ласнов отвернулся.

— Дай хоть пять.

— Идет, — сказал Ласнов, — я дам тебе пять.

Он взял щетку и протянул бумажку в пять марок. Мальчишка вернулся в зал ожидания, и Ласнов увидел, как он принялся не торопясь ворошить палкой остывшую золу в печке, надеясь найти там окурки; поднялось серое облако пыли, и мальчишка заскулил что-то себе под нос, но Ласнов не расслышал слов.

Начальник станции появился как раз в тот момент, когда Ласнов собрался свернуть самокрутку и, высыпав на ладонь табак, отделял его от крошек.

— Гляди-ка! Да здесь, пожалуй, хватит и на двоих, — сказал начальник станции и, не спрашивая разрешения, взял с ладони Ласнова щепоть табака.

Они оба стояли у входа в вокзал и курили, глядя на улицу, обрамленную киосками, лотками и грязными брезентовыми палатками: все было серого, коричневого или бурого цвета, даже детская карусель не веселила яркими красками.

— Как-то раз моим детям, — прервал молчание начальник станции, — подарили картинки для раскрашивания. На одном листе был напечатан готовый пестрый рисунок, а на другом — только его контуры. Но у нас не было ни красок, ни цветных карандашей, и дети замазали все контурные рисунки сплошь одним черным карандашом. Вот когда я гляжу на наш базар, я вспоминаю эти рисунки: видно, в мире нет больше красок, есть только простой черный карандаш — все серо, грязно, черно...

— Да, — вздохнул Ласнов. — Времечко... ни черта не заработаешь... Единственное, что можно теперь достать для обмена, — это кукурузные лепешки у Рухова, но ты ведь знаешь, как он их фабрикует.

— Еще бы не знать — прессует сырые кукурузные зерна, а потом смазывает свои лепешки подкрашенным растительным маслом, чтоб они выглядели поджаристыми.

— Ну ладно, — сказал Ласнов, — пойду погляжу, может, что-нибудь удастся сделать.

— Если повстречаешь Копа, скажи, что ему пришел здоровенный ящик.

— Ящик? С чем?

— Не знаю. Из Одессы. Я pošлю мальчишку с тележкой к Копу. Так ты ему передашь?

Все время, пока Ласнов не спеша шел по базару, он поминутно оглядывался в сторону вокзала, не везет ли мальчишка ящик, а всем встречным рассказывал, что для Копы из Одессы прибыл ящик. Слух быстро распространился по базару, обогнал Ласнова, и

когда Ласнов, наконец, медленно направился к ларьку Копы, слух катился к нему уже с той стороны. Ласнов подошел к карусели, хозяин как раз впрягал в крестовину лошадь; морда лошади была измождена голодом, это придавало ее облику благородство и напомнило Ласнову ту голодающую монахиню, которую он видел в детстве; ее лицо тоже было худым и темным, облагороженным лишениями; ее показывали в темно-зеленой палатке на ярмарке и за входную плату не брали, зато у выхода сидел человек с тарелкой и просил пожертвовать на монастырь. Хозяин карусели подошел к Ласнову и зашептал ему в ухо:

— Ты слышал о ящике, который получил Коп?

— Нет, — ответил Ласнов.

— Говорят, там игрушки, заводные автомобильчики.

— А я слышал, будто там одни зубные щетки.

— Нет, нет, — горячо возразил хозяин карусели, — там игрушки.

Ласнов погладил лошадь по носу и медленно поплелся дальше, с болью думая о том, какие дела он мог бы повернуть в другое время. На своем веку он купил и продал такое количество одежды, что мог бы экипировать целую армию, а теперь докатился бог весть до чего: мальчишка-щенок ухитрился всучить ему зубную щетку! Он продавал бочками растительное и сливочное масло, свиное сало, а в рождественские дни всегда держал ларек и торговал длинными, с карандаш, леденцами, окрашенными в яркие цвета, такие же пронзительно-едкие, как радости и печали бедняков: красные, как любовь, которую справляют в подъездах или под фабричными заборами, окутанными горько-сладким запахом папки; желтые, как пламя в мозгу пьяницы; или светло-зеленые, как боль, которую испытываешь, когда, проснувшись рано утром, глядишь и не можешь отвести глаз от лица спящей жены, этого детского лица, защищенного от жизни только красноватыми веками — ненадежными заслонками, которые ей приходится поднимать всякий раз, как дети начинают

плакать. Но в этом году не было и леденцов, и в рождество Ласнов с женой и детьми будет сидеть дома, хлебать жидкий суп и по очереди глядеть на свет сквозь прозрачную ручку зубной щетки.

Возле карусели какая-то старуха составила два стула и на этом самодельном прилавке открыла торговлю: она продавала два матраца с клеймом магазина «Лувр», замусоленную книжку под названием «Путеводитель по железной дороге от Гельзенкирхена до Эссена», комплект английского иллюстрированного журнала за 1938 год и маленькую жестяную коробочку, в которой когда-то была лента от пишущей машинки.

— Хорошие вещи, — сказала старуха подошедшему Ласнову.

— Да, вещи что надо, — подтвердил он и хотел было идти дальше, но старуха вдруг кинулась к нему, притянула к себе за рукав и зашептала:

— Для Копа прибыл ящик из Одессы с рождественскими подарками.

— Да ну? А что в нем?

— Пестро раскрашенные сахарные фигурки, резиновые звери с пицалками. Вот будет весело!

— Это точно, — сказал Ласнов, — будет весело.

Когда он, наконец, дошел до ларька Копа, тот, сгрузив с тележки свой товар, как раз расставлял его по полкам: щипцы для угля, чугуны, железные печки, старые ржавые гвозди, которые он собственноручно вытаскивал из бросовых досок и выпрямлял. К ларьку Копа стянулся почти весь базар, онемевшие от волнения люди глядели в сторону вокзала. Коп устанавливал каминный экран, на котором была изображена китаянка, окруженная золотыми хризантемами.

— Начальник станции велел сказать, что на твое имя прибыл ящик. Его сейчас привезет сюда мальчишка, который вечно болтается на станции.

Коп взглянул на Ласнова, вздохнул и тихо произнес:

— И ты... Ты тоже об этом...

— Что значит «тоже»? — возмутился Ласнов. — Я иду прямо с вокзала, чтобы тебе сообщить...

Коп боязливо поежился. Одет он был, как всегда, чисто: серая меховая шапка, в руках трость, которую он при ходьбе с силой вонзал в землю и, как единственное воспоминание о лучших днях — небрежно зажатая в углу рта сигарета, обычно погасшая, потому что у него никогда не было денег на табак.

Двадцать семь лет назад Ласнов, дезертировав из армии, вернулся в деревню и принес весть о революции. Коп в то время был комендантом вокзала в чине фенриха*, и когда Ласнов во главе солдатского совета явился на вокзал, чтобы арестовать Копу, тот не пожелал даже ради спасения своей жизни сделать незначительное движение губами и выплюнуть сигарету, хотя видел, что взгляды всех прикованы к уголку его рта. Коп ждал, что его расстреляют, но Ласнов только вlepил ему здоровенную оплеуху и вышиб сигарету у него изо рта. А без сигареты он выглядел мальчишкой, не выучившим урока, и они оставили его в покое. Сперва он был учителем, потом занялся торговлей, но и до сих пор, встречая Ласнова, боялся, что тот опять вышибет у него изо рта сигарету. Коп поднял на Ласнова испуганные глаза, подвинул немного каминный экран и сказал:

— Если бы ты только знал, сколько человек мне это уже сообщили!

— Экран для камина! — удивленно воскликнула какая-то женщина. — А где взять теперь тепло, от которого загораживаются этим экраном?

Коп кинул на нее презрительный взгляд.

— У вас нет чувства красоты.

— Зачем оно мне, — смеясь, возразила женщина, — я и сама красива, да еще гляди, сколько у меня красивых детей. — И она быстро погладила по головам четырех стоящих вокруг нее детей. — Но тогда надо...

Она так и не кончила фразы, потому что в этот момент ее четверо ребят бросились со всех ног вслед

* Ф е н р и х — соответствует русскому чину прапорщика.

за другими детьми в сторону вокзала, навстречу мальчишке, который вез на тележке начальника станции ящик для Копы.

Все торговцы вышли из своих ларьков, дети слезли с карусели.

— Господи, — тихо сказал Коп Ласнову, единственному, кто не двинулся с места. — Я уж начинаю жалеть, что получил этот ящик. Они меня разорвут.

— А что там внутри?

— Понятия не имею. Знаю только, какие-то штучки из жести.

— Мало ли что может быть из жести — консервные банки, игрушки, ложки.

— Маленькие шарманки с ручками.

— Да мало ли что...

Коп вместе с Ласновым помогли мальчишке снять с тележки ящик. Ящик был белый, сбитый из свежевиструганных досок, высотой чуть поменьше стола, на котором Коп разложил свои ржавые гвозди, ножницы и прочий скарб...

Все затаили дыхание, когда Коп, вытащив старую кочергу, принялся открывать крышку ящика; послышался скрежет отдираемых гвоздей. Ласнов удивился, что успела собраться такая большая толпа; он вздрогнул, когда мальчишка вдруг сказал:

— А я знаю, что там.

Все молча уставились на него, мальчишка окинул взглядом напряженные лица стоявших вокруг людей, пот выступил у него на лбу, и он прошептал:

— Ничего там нет... Ничего.

Скажи он это на мгновение раньше, разочарованная толпа накинулась бы на него и избивала бы, но Коп уже успел оторвать крышку и рылся теперь в стружках; он вынул слой стружек, затем слой скомканной бумаги и поднял над головой какие-то блестящие предметы, которые достал из ящика.

— Пинцеты! — крикнула какая-то женщина.

Но это были вовсе не пинцеты.

— Нет, нет! — воскликнула та женщина, которая сама себя назвала красивой. — Нет, это...

— Что же это такое? — спросил маленький мальчик.

— Это щипцы для сахара, — раздался желчный голос хозяина карусели; злобно расхохотавшись, он всплеснул руками и, не переставая смеяться, побежал к своей карусели.

— В самом деле, — сказал Коп, — щипцы для сахара. Много-много щипцов для сахара...

Он швырнул щипцы, которые держал в руке, назад в ящик и принялся рыться в его недрах. Хотя толпившиеся люди и не видели его лица, они знали, что он не смеется: он копался в куче позвякивающих металлических предметов, как скряга на картинке в своих сокровищах.

— Это на наших похоже, — сказала женщина. — Подумать только — щипцы для сахара! Если бы был сахар, я бы его уж как-нибудь руками взяла...

— Моя бабушка, — заметил Ласнов, — всегда брала сахар руками, но ведь она была глупая, темная крестьянка.

— Я думаю, что тоже отважилась бы на это.

— Ты всегда была свинья свиньей — брать сахар руками! Нет уж!..

— Ими можно, — сказал Ласнов, — выуживать помидоры из банки.

— Если у кого есть помидоры... — ответила женщина, назвавшая себя красивой.

Ласнов внимательно посмотрел на нее. Она и в самом деле была красива — густые светлые волосы, прямой нос и темные выразительные глаза.

— А еще ими можно, — не унимался Ласнов, — срывать огурцы.

— Если у кого есть огурцы, — ответила женщина.

— А еще ими можно ущипнуть себя за задницу.

— Если у кого есть задница, — сухо отрезала женщина.

Ее лицо становилось все злее и красивее.

— А еще ими можно брать уголь.

— Если у кого есть уголь.

— А еще ими можно держать сигарету, когда куришь.

— Если у кого есть курево.

Когда говорил Ласнов, все смотрели на него, а когда он замолкал, все переводили взгляд на женщину, и чем бессмысленнее в этом разговоре становилось назначение щипцов, тем несчастней было выражение на лицах детей и взрослых. «Надо их рассмешить, во что бы то ни стало рассмешить, — думал Ласнов. — Я опасался, что в ящике окажутся зубные щетки, но щипцы для сахара еще хуже». Покраснев под торжествующим взглядом, он громко возвестил:

— А еще ими можно накладывать вареную рыбу.

— Если у кого есть вареная рыба, — не унималась женщина.

— А еще ими могут играть дети, — тихо сказал Ласнов.

— Если у кого... — начала было женщина и рассмеялась, и все рассмеялись вместе с ней, потому что чего-чего, а уж детей у всех хватало.

— Послушай, — обратился Ласнов к Копу, — дай-ка мне три штуки. Почему они?

— По двенадцать, — сказал Коп.

— По двенадцать! — воскликнул Ласнов и кинул деньги Копу на стол. — Да это ж даром!

— И в самом деле недорого, — смущенно сказал Коп.

Десять минут спустя все дети на базаре бегали с серебряными, блестящими щипцами для сахара; они размахивали ими, вертясь на карусели, щипали друг друга за нос, чуть ли не тыкали ими в лицо взрослым.

Мальчишка, который привез ящик, тоже получил в подарок щипцы. Он сидел теперь на каменных ступеньках вокзала и булыжником выравнивал изогнутые щеки щипцов. «Наконец-то будет чем выковыривать окурки, застрявшие в щели между половицами». Он пробовал это делать кочергой, проволокой, ножницами, но никогда ничего не получалось. Теперь у него в руках был новый инструмент, и он знал, что получится.

Коп пересчитал деньги, тщательно перевязал их и спрятал в бумажник. Он поглядел на Ласнова, который мрачно стоял рядом с ним и наблюдал за базарной толчеей.

— Сделай мне одолжение, — сказал Коп.

— Какое? — рассеянно отозвался Ласнов.

— Дай мне по морде так, чтобы сигарета вылетела изо рта.

Ласнов, по-прежнему не глядя на Копу, задумчиво покачал головой.

— Стукни, пожалуйста, прошу тебя... Разве ты уже не помнишь?

— Почему? Помню, но мне неохота бить тебя еще раз.

— В самом деле?

— Да, в самом деле, мне даже в голову никогда не приходило еще раз тебя ударить.

— Черт возьми! — воскликнул Коп. — А я двадцать семь лет ждал этого и боялся.

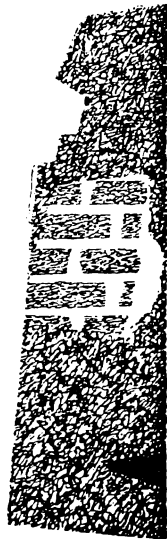
— Зря боялся, — сказал Ласнов и, покачав головой, двинулся к вокзалу.

«Быть может, — подумал он, — еще придет дополнительный поезд с отпускатниками или ранеными». Правда, дополнительные поезда бывали редко, но ведь могло случиться, что именно сегодня придет дополнительный поезд. Засунув руку в карман пиджака, он в задумчивости перебирал зубную щетку и трое щипцов. «Бывали ведь дни, — думал он, — когда приходило подряд по три дополнительных поезда».

Он прислонился к фонарю и вытряхнул из кيسета остатки табачной пыли...



КОГДА КОНЧИЛАСЬ ВОЙНА



КОГДА КОНЧИЛАСЬ ВОЙНА



же совсем рассвело, когда мы подъехали к немецкой границе: слева — широкая река, справа — лес, глухой и темный, даже по опушке видно; в вагоне все притихли, поезд медленно полз по наспех расчищенному полотну, мимо разбитых домишек и изрешеченных телеграфных столбов. Сопляк, примостившийся подле меня, снял очки, старательно протер их и прошептал:

— Бог ты мой, куда это нас завезли! Ты представляешь себе, где мы?

— Да, — ответил я. — Река, которую ты только что видел, называется у нас Рейном. Этот вот лес справа — Рейхсвальд. А сейчас будет Клеве.

— Разве ты из этих мест?

— Нет.

Он мне надоел. Всю ночь напролет протараторил он своим петушиным голосом старшеклассника и чуть не свел меня с ума: он, мол, тайно читал Брехта, Тухольского, Вальтера Бенжамена*, а также Пруста и Карла Крауса**, он бормотал, что поставил себе целью изучить социологию, а также теологию, ибо намерен содействовать обнозлению Германии; а когда эшелон под утро остановился в Нимвегене и кто-то сказал, что скоро будет немецкая граница, он вдруг засуетился и начал приставать ко всем, не обменивает ли кто-нибудь моточек ниток на два окурка;

* Вальтер Бенжамен — австрийский писатель конца XIX века.

** Карл Краус — австрийский писатель и публицист начала XX века.

так как никто не отозвался, я предложил содрать темно-зеленые нашивки с моего воротника, которые, кажется, называются петлицами, и распустить их. Я снял мундир и стал наблюдать, как он, вооружившись кусочком жести, аккуратно отпарывал эти штуки, мотал нитки в клубок, а затем и в самом деле принялся обшивать свои юнкерские погоны галуном. Я спросил его, уж не под влиянием ли Брехта, Тухольского, Бенжамена и Карла Крауса занялся он рукоделием или это следует приписать влиянию Юнгера, в котором он, правда, не признался, но которое побуждает его вновь утвердить себя в своем воинском звании с иголкой в руках — этой пикой Мальчика с пальчика. Сопляк покраснел и сказал, что с Юнгером он давно покончил и свел с ним все счёты, а когда мы въехали в Клеве, прервал свое шитье и снова подсел ко мне, стискивая в пальцах свою пикку Мальчика с пальчика.

— Вот о Клеве ничего не могу вспомнить... Решительно ничего, — сказал он. — А ты?

— А я могу, — ответил я. — «Лознгрин» — фирма маргарина, лебедь в голубой рамке. Помнишь? А еще Анна Клевская, одна из жен Генриха VIII.

— В самом деле «Лознгрин»? Но у нас дома покупали маргарин «Санелла». Возьмешь окурки?

— Нет. Сбереги их для своего отца. Надеюсь, он даст тебе по морде, когда ты явишься домой с юнкерскими нашивками.

— Ах, тебе этого не понять, — вздохнул он. — Пруссия, Клейст, Франкфурт-на-Одере, Потсдам, принц Гомбургский, Берлин...

— Что ж, — сказал я, — Клеве, кажется, уже давно стал прусским городом, а где-то против него, по ту сторону Рейна лежит маленький городок Везель.

— Ну как же, — воскликнул он, — конечно, Шилль!*

* Шилль (1778—1809) — прусский майор, расстрелянный в Везеле как организатор партизанской борьбы с наполеоновскими войсками.

— Впрочем, за Рейном пруссакам так и не удалось обосноваться. Они захватили там только два плацдарма — Бонн и Кобленц.

— Пруссаки, — сказал он.

— Бломберг, — сказал я. — Тебе нужны еще нитки?

Он снова покраснел и замолк.

Поезд полз медленно, и все толпились у открытых дверей теплушки и глазели на Клеве. По перрону расхаживали английские часовые: небрежно одетые, хмурые, равнодушные и все же настороженные — ведь мы все еще были пленные; на шоссе столб со стрелкой: «На Кельн». Башня Лознгриня проглядывала сквозь осеннюю листву. Октябрь в низовьях Рейна, голландское небо; кухни в Ксантене, тетки в Кевеларе, напевный говор, шепот контрабандистов в пивных, шествия в честь святого Мартина, пекари, карнавал в духе Брейгеля, и везде пахнет мятными пряниками, даже там, где ничем не пахнет...

— Да пойми ты меня, — бормотал Сопляк.

— Оставь меня в покое, — оборвал я его.

Хотя он еще не был мужчиной, он скоро им станет, и поэтому я его ненавидел. Он обиделся, отсел от меня и стал дошивать второй погон. Мне его даже не было жалко: неуклюже, исколотыми в кровь пальцами втыкал он иголку в синее сукно своей летней формы; стекла его очков помутнели, и я не мог определить, плачет он или это только так кажется; я тоже чуть не плакал: ведь через два часа, самое большее через три мы будем в Кельне, а оттуда рукой подать до местечка, где жила та, на которой я женился и в чьем голосе никогда не звучали брачные нотки.

Внезапно из-за угла товарного склада выбежала женщина, и, прежде чем часовые успели опомниться, она подскочила к нашему вагону и развернула синий платок, в котором, как я сперва решил, запеленат ребенок. Там оказался хлеб, большая буханка хлеба. Женщина протянула ее мне, и я ее взял: буханка бы-

ла тяжелая, и, на мгновение потеряв равновесие, я чуть было не вывалился из движущегося вагона; хлеб был темный, еще теплый, и мне хотелось крикнуть «спасибо, спасибо!», но слово это я вдруг счел почему-то глупым, а тут еще поезд прибавил скорость, и я остался стоять на коленях с тяжелой буханкой в руках; и поныне я ничего не знаю о той женщине, кроме того, что голову ее покрывал темный платок и что она была уже в годах.

Когда я, наконец, поднялся на ноги, в вагоне стало еще тише, чем прежде, глаза всех уперлись в хлеб, который под их взглядами становился все тяжелее; я знал эти глаза, знал их рты, зияющие под этими глазами, и много месяцев подряд пытался определить, где же проходит у меня граница между ненавистью и презрением, но так и не нашел этой границы; некоторое время я делил этих людей на пришивальщиков и непришивальщиков — это было, когда нас перевели из американского лагеря военнопленных (где было запрещено ношение знаков различия) в английский (где ношение знаков различия не возбранялось), — и к непришивальщикам я даже испытывал некоторую симпатию, пока не выяснилось, что у них у всех вообще не было никаких чинов и пришивать им было просто нечего; один из них, Эгелехт, даже попытался устроить надо мной нечто вроде суда чести, чтобы лишить меня права считаться немцем (и я мечтал, чтобы этот суд, так никогда и не состоявшийся, имел бы власть отнять у меня это право). Но они не знали, что всех их, и нацистов и ненацистов, я ненавидел не только за их пристрастие к пришиванию петлиц или за их политические взгляды, но и за то, что они были мужчинами, что все они были одного пола с теми, с кем я жил бок о бок целые шесть лет. За это время понятия «мужчина» и «дурак» для меня стали почти тождественными.

Где-то в глубине вагона раздался голос Эгелехта:
— Первый немецкий хлеб! И надо же, чтобы он достался именно ему.

В голосе Эгелехта слышались сдавленные всхли-

пивания, я и сам едва сдерживал слезы, но им никогда не понять, что это не только из-за буханки, не только потому, что мы уже пересекли границу Германии, а главным образом потому, что впервые за последние восемь месяцев я почувствовал прикосновение женской руки.

— Ты, — тихо сказал Эгелехт, — ты, наверное, даже этому хлебу откажешь в его немецком происхождении.

— Да, я поступлю как типичный интеллигент и задумаюсь над тем, не прибыла ли мука, из которой испечен этот хлеб, из Голландии, Англии или, чего доброго, из Америки. Поди-ка сюда, — добавил я, — и раздели его на всех, если тебе охота.

Большинство из них я ненавидел, многие были мне безразличны, а что до Сопляка, который последним примкнул к группе пришивальщиков, то им я тяготился все больше, и все же я считал, что должен разделить с ними этот хлеб — ведь я понимал, что он предназначался не мне одному.

Эгелехт медленно протиснулся вперед: он был долговязый и тощий, такой же долговязый и тощий, как и я, ему было двадцать шесть, столько же, сколько мне; в течение трех месяцев он пытался мне вдолбить, что националист — это не нацист, что слова Честь, Верность, Родина, Достоинство никогда не могут потерять своей непреходящей ценности, а я противопоставлял мощному потоку его красноречия всего только пять слов: Вильгельм II, фон Папен, Гинденбург, Бломберг, Кейтель, — и его бесило то, что я никогда не упоминал имени Гитлера, даже тогда, когда первого мая часовой бежал по лагерю и орал в рупор: «Hitler is dead, dead is he!» *

— На, — сказал я, — дели хлеб.

— Рассчитайся! — крикнул Эгелехт.

Я дал ему буханку, он снял шинель, расстелил ее на полу вагона подкладкой вверх, разгладил подкладку, положил на нее хлеб, а вокруг нас тем временем шел расчет.

* Гитлер умер, он умер! (англ.).

— Тридцать второй! — крикнул Сопляк.

Стало тихо.

— Тридцать третий! — сказал после паузы Эгелехт и посмотрел на меня, потому что «тридцать третий» должен был крикнуть я, но я промолчал, отвернулся и стал глядеть в раскрытую дверь на шоссе, окаймленное старыми деревьями, тополями и вязами наполеоновских времен, под которыми мы с братом устраивали привал, когда ехали на велосипедах из Вееце к голландской границе, чтобы купить дешевого шоколада и сигарет.

Я чувствовал, что они там за моей спиной ужасно обижены; я видел на обочинах желтые указатели: «На Калькар», «На Ксантен», «На Гельдерн»; слышал звяканье самодельного ножа, ощущал, как обида нарастает, словно грозное облако; они всегда находили повод обидеться — они обижались, когда английский часовой протягивал им сигарету, и обижались, когда он ее не протягивал; они обижались, когда я ругал Гитлера, а Эгелехт смертельно обижался, когда я не ругал Гитлера; Сопляк тайно читал Бенжамена и Брехта, Пруста, Тухольского и Карла Крауса, когда мы пересекли немецкую границу, он срочно обшил погоны юнкерскими галунами. Я вынул из кармана сигарету, которую выменял на свои ефрейторские нашивки, обернулся и присел возле Сопляка. Я наблюдал, как Эгелехт делил хлеб: он разрезал буханку пополам, обе половинки — на четыре части, а восьмушки — снова на четыре части, таким образом на долю каждого доставался хороший толстый ломоть — темный хлебный кубик, граммов, должно быть, в шестьдесят.

Эгелехт разрезал уже последнюю восьмушку, и каждый, каждый знал, что те, кому достанутся средние куски, получат граммов на пять, а то и на десять больше остальных, потому что, хотя буханка и была горбатой, Эгелехт резал все ломти одинаковой толщины. Но потом он взял оба средних ломтя, отсек у них лишек и сказал:

— Итак, тридцать три порции — пусть младший начнет.

Сопляк поглядел на меня, залился краской, наклонился, взял кусок хлеба и тут же запахнул его в рот; все шло как по маслу, пока Бувье, который вечно говорил о своих самолетах и доводил меня этим до бешенства, не взял себе куска, потому что за ним наступал мой черед, а потом — Эгелехта, но я не шелохнулся. Мне хотелось закурить, но у меня не было спичек и никто мне не предложил огонька. Все, кто уже взял хлеб, испуганно перестали жевать; те, кто еще не взял, не знали толком, что происходит, и все же они поняли: я не хотел преломить с ними хлеб; они чувствовали себя оскорбленными, тогда как первые (уже получившие хлеб) были лишь в замешательстве; я пытался смотреть в дверь, на тополя и вязы наполеоновских времен, на эту аллею с просветами, затянутыми голландским небом, но попытка сделать вид, что меня все это не касается, не удалась; я боялся, что меня отлупят; драться я не очень-то умел, но даже если бы и умел, меня это все равно не спасло бы, они меня так и так разделили бы под орех, как тогда, в лагере под Брюсселем, когда я сказал, что предпочитаю быть мертвым евреем, чем живым немцем. Я вынул сигарету изо рта, отчасти потому, что курить в эту минуту мне показалось смешным, отчасти же потому, что боялся потерять ее в свалке, и поглядел на Сопляка, который сидел рядом, красный как рак. Потом Гугель, следующий за Эгелехтом, взял себе кусок и тут же сунул его в рот, и все остальные последовали его примеру; осталось всего три куска хлеба на шинели, когда вперед вышел человек, которого я еще толком не знал; в нашу палатку он попал только в лагере под Брюсселем; он был в годах, на вид лет пятидесяти, невысокого роста, с серым, испещренным шрамами лицом; в наших яростных спорах он никогда не участвовал, стоило нам схватиться, как он тотчас выходил из палатки и принимался шагать вдоль колючей проволоки, и по виду его было ясно, что это занятие ему не внове. Я даже не знал, как его зовут. На нем была сильно выгоревшая форма колониальных войск и совершенно штатские полуботинки. Из глубины

вагона он двинулся прямо на меня, подошел вплотную, остановился и сказал неожиданно мягким голосом:

— Возьми хлеб.

Я не взял, он покачал головой и сказал:

— У всех вас проклятый дар придавать всему символический смысл. Это хлеб, всего лишь хлеб, и женщина подарила его тебе... Ну, бери же!..

Он взял кусок с шинели, вложил его в ладонь моей бессильно висевшей руки и крепко стиснул мои пальцы. У него были темные, но не черные глаза, и, судя по лицу, он много намотался по тюрьмам. Я кивнул и сделал усилие, чтобы удержать хлеб; вздох облегчения пронесся по вагону; Эгелехт взял свой ломоть, а за ним и старик в колониальной форме.

— Проклятье, — сказал он, — двенадцать лет я не был в Германии, но постепенно я все же начинаю понимать вас, безумцев.

Прежде чем я успел сунуть хлеб в рот, поезд остановился и мы вышли.

Большое аккуратное свекольное поле; несколько часовых-бельгийцев с фламандскими львами на околышах и на петлицах бежали вдоль поезда и кричали:

— Выходить!.. Всем выходить!..

Сопляк не отходил от меня ни на шаг, он протер свои очки и прочитал название станции:

— Вееце... Тебе что-нибудь приходит на ум?

— Конечно, — сказал я. — Вееце расположен северней Кевелара и восточнее Ксантена.

— Ах, — воскликнул он, — Кевелар — Генрих Гейне.

— Ксантен — Зигфрид, если ты это забыл.

«Тетя Элен, — думал я, — Вееце. Почему мы не доехали до Кельна?» От Вееце ничего не осталось, кроме нескольких кирпичных развалин, красневших между деревьями. Тетя Элен держала в Вееце лавку, большую деревенскую лавку, и каждое утро она совала нам несколько монеток, чтобы мы поката-

лись на лодках по Ниерсу или отправились бы на велосипедах в Кевелар. По воскресеньям — проповеди в церкви: предавались анафеме контрабандисты и прелюбодеи.

— Ну, чего топчетесь на месте? — закричал часовой-бельгиец. — Пошли! Пошли! Ты что, домой не хочешь?

Я вошел в лагерь. Сперва английский офицер вручил каждому из нас по двадцать марок, в получении которых надо было расписаться. Потом — очередь к врачу. Врач был немец — молодой насмешливый парень; он подождал, пока в кабинете собралось человек двенадцать-пятнадцать, и объявил:

— Если кто из вас настолько болен, что не хочет сегодня — понимаете, сегодня же — отправиться домой, пусть поднимет руку.

И, конечно, нашлось несколько человек, которые рассмеялись этой невысказанно смешной шутке. Затем мы по очереди подходили к его столу, где он каждому шлепал печать на свидетельство об освобождении, и выходили в другую дверь. Я задержался на несколько секунд у открытой двери и услышал, как врач говорил следующей группе:

— Если кто из вас настолько болен, что...

Я вышел, и уже в конце коридора до меня донеслись раскаты смеха, а я направился к следующей инстанции. Это был английский фельдфебель, который стоял у наспех вырытого отхожего места без крыши.

— Предъявляйте свои солдатские книжки и вообще все бумаги, — скомандовал фельдфебель.

Он произнес это по-немецки, и когда они вытаскивали из карманов документы, он, махнув рукой в сторону отхожего места, приказывал кидать все в дыру, добавляя всякий раз тоже по-немецки:

— Не стесняйтесь, наслаждайтесь!

И большинство смеялось и этой шутке. Я вообще установил, что у немцев вдруг пробудился вкус к шуткам, но только если шутили иностранцы: даже Эгелехт смеялся в лагере, когда американский

капитан, указав на проволочное ограждение, сказал:

— Boys *, не воспринимайте это трагически — на конец-то вы свободны.

У меня английский фельдфебель тоже спросил документы, но я смог предьявить только свидетельство об освобождении, потому что свою солдатскую книжку загнал за две сигареты еще в лагере одному американцу; я сказал:

— Никаких других бумаг у меня нет.

И это его так же разозлило, как в свое время американского фельдфебеля, когда я на вопрос: «Гитлерюгенд»? СА? Член партии?» ответил «No» **. Американец на меня наорал, назначил наряд вне очереди, выкрикивал мне вслед ругательства и обвинил мою бабушку в каком-то сексуальном извращении, природу которого мне так и не удалось выяснить из-за недостаточного знания американского сленга. Они стервенеют, если кто-нибудь не подходит под заготовленную ими мерку. Английский фельдфебель побагровел от бешенства, вскочил и принялся меня обыскивать; долго искать ему не пришлось — он тут же наткнулся на мой дневник, толстую самодельную тетрадку: листы, вырезанные из бумажных пакетов, были прошиты проволокой — я записывал туда все, что случилось со мной с середины апреля до конца сентября, начиная с того дня, как был взят в плен американским сержантом Стивенсоном, вплоть до последней записи, которую я сделал уже в поезде, когда мы проехали мрачный Антверпен, где я прочел на одной стене надпись: «Vive le roi!» *** Больше ста страниц грубой оберточной бумаги, плотно исписанных... Взбешенный фельдфебель схватил мой дневник, швырнул его в дыру отхожего места и буркнул зло: «Didn't I ask you for papers?!» **** Потом он разрешил мне идти.

Мальчики (англ.).

** Нет (англ.).

*** Да здравствует король! (франц.).

**** «Ведь я же спрашивал вас насчет документов?!» (англ.).

Мы толпились у лагерных ворот и ждали бельгийских грузовиков, которые, как стало известно, должны были доставить нас в Бонн... Бонн? Почему именно в Бонн? Кто-то рассказал, будто въезд в Кельн закрыт, потому что город завален непогребенными трупами, другой утверждал, что нас заставят в течение тридцати, а то и сорока лет разбирать руины «и нам даже тачек не дадут, так что мусор и битый кирпич придется таскать на себе, в корзинках». К счастью, возле меня не стоял ни один из тех, с кем я вместе спал в палатке или ехал в вагоне. Болтовня незнакомых людей была мне не так отвратительна, как разглагольствования знакомых. Кто-то впереди меня сказал:

— А у еврея он хлеб взял.

А другой ему в ответ:

— Вот такие типы и будут теперь задавать тон.

Сзади кто-то толкнул меня и спросил:

— Махнем сто грамм хлеба на сигарету?

И тут же перед моим лицом появилась рука с куском хлеба, и я сразу узнал один из тех кубиков, которые нарезал Эгелехт в вагоне. Я покачал головой. Рядом раздался чей-то голос:

— Бельгийцы торгуют сигаретами по десять марок за штуку.

Мне это показалось очень дешево: в лагере немцы продавали сигарету за сто двадцать марок.

— Кому нужны сигареты?

— Мне, — сказал я и сунул свои двадцать марок в чью-то ладонь.

Все торговали со всеми. Это было единственное, что их всерьез интересовало. За две тысячи марок плюс поношенный мундир кто-то получил гражданский костюм; обмен и переодевание произошли прямо тут же, в толпе, и я услышал чей-то возмущенный голос:

— Подштанники относятся к костюму, это же ясно! И галстук тоже...

Кто-то загнал часы за три тысячи марок. Но главным товаром было мыло. Те, кто содержался

в американских лагерях, имели много мыла, некоторые до двадцати кусков, потому что каждую неделю там выдавали по куску мыла, но воды для мытья не было никогда; те же, кто прибыл из английских лагерей, мыла и в глаза не видали; зеленые и красные куски передавались из рук в руки, вид мыла пробудил кое в ком честолюбие художника: так из мыла были созданы собачки, кошечки и всевозможные гномы. Но тут выяснилось, что честолюбие художника несовместимо с торговлей: простой кусок мыла ценился по курсу выше мыльной фигурки, ибо в этом случае не был гарантирован чистый вес.

Неведомая мне рука, в которую я сунул двадцать марок, вдруг снова вынырнула с двумя сигаретами; я был почти умилен такой честностью (да, почти умилен, но только пока не узнал, что бельгийцы торгуют сигаретами по пять марок штука. В самом деле, сто процентов прибыли — неплохой бизнес, особенно между товарищами).

Мы стояли у ворот, сбившись в тесную кучу, не меньше двух часов, и в памяти моей остались только руки, руки спекулянтов, которые передавали мыло слева направо и справа налево и деньги слева направо и снова справа налево. Мне представилось, что я попал в змеиное гнездо, руки извивались вокруг меня, проползали по моим плечам, касались головы, передавая товар и деньги во всех направлениях.

Сопляку удалось снова протиснуться ко мне. Он примостился рядом со мной в бельгийском грузовике, который ехал на Кевелар, через Кевелар на Крефельд, в объезд Крефельда, на Нейсс; на полях и в городках было тихо, мы почти не видели людей, лишь изредка попадалась лошадь или корова, и темное осеннее небо низко нависло над землей; слева от меня сидел Сопляк, справа — бельгийский солдат, и мы глядели через борт на шоссе, которое я так хорошо знал: ведь мы с братом столько раз проезжали здесь на велосипедах. Сопляк все пытался начать разговор, чтобы оправдаться, а я всякий раз об-

резал его, но он все равно не унимался, из кожи вон лез, лишь бы показаться остроумным.

— Но вот к Нейссу ты уж точно ничего не подберешь, — сказал он. — Что может прийти человеку в голову по поводу такой дыры, как Нейсс?

— Шоколад фирмы «Новезия»*, — сказал я. — Кислая капуста и Квирин**, но о фиванском легионе*** ты, верно, никогда не слыхал.

— Не слыхал, — признался он и снова покраснел.

Я спросил бельгийского часового, правда ли, что въезд в Кельн закрыт и что город завален трупами.

— Нет, — ответил он, — но вид у него неважный. А ты что, кельнский?

— Да, — сказал я.

— Ну, тогда держись... Мыло у тебя есть?

— Есть.

— Гляди-ка, — сказал он, вынул из кармана пачку табаку, распечатал ее и ткнул мне в нос светло-желтым, душистым торцом. — Два куска мыла, и она твоя. Разве не честно?

Я кивнул, полез в карман шинели за мылом, дал ему два куска и спрятал табак. Он сунул мне в руки свой автомат и рассовал мыло по карманам. Когда я протянул ему автомат, он вздохнул:

— Видно, нам еще придется потаскать эти проклятые штуки. Для вас все сложилось не так уж скверно, как вы думаете... Чего ты плачешь?

Я мотнул головой налево: Рейн. Мы ехали в сторону Лорманена. Я заметил, что Сопляк снова открывает рот, и крикнул:

— Ради бога, помолчи!.. Да заткнись же ты наконец!

Должно быть, он хотел меня спросить, что мне приходит на ум при виде Рейна. К счастью, он всерьез обиделся и молчал, насупившись, до самого Бонна.

* Новезия — название зимнего лагеря древнеримских легионов, находившегося на месте города Нейсса.

** Квирин — католический святой, мощи которого находятся в городе Нейссе.

*** Фиванский легион — один из древнеримских легионов, стоявших в Новезии.

От Кельна действительно осталось несколько домов; я увидел идущий трамвай, каких-то людей, даже женщин: одна из них нам кивнула; мы свернули с Нойсерштрассе в район бульваров. Я все время ждал, что заплачу, но слез почему-то не было; здание страхового агентства на бульваре было тоже разрушено, а на месте Гогенштауфеновских бань кое-где поблескивали голубые плитки. Я все надеялся, что грузовик куда-нибудь свернет, потому что мы жили на бульваре Каролингов; но он никуда не сворачивал, а мчался вниз по бульварам: площадь Барбароссы, бульвар Саксов, бульвар Сальери; я не решался глядеть в сторону нашего дома, да так и не поглядел бы, если бы у площади Хлодвиг не случился затор и наш грузовик не остановился бы как раз перед домом, в котором мы раньше жили, и тут я поднял глаза. Понятие «полностью разрушен» неточное; лишь в редких случаях удается полностью разрушить дом: даже трех или четырех прямых попаданий может оказаться недостаточно, для верности он должен еще и сгореть; дом, в котором мы жили, был полностью разрушен не в техническом смысле, а по сути дела, иначе говоря, я все же смог его узнать: сохранились парадный вход и звонок у двери, а я думаю, что дом, у которого еще есть парадный вход и звонок у двери, строго говоря, нельзя назвать «полностью разрушенным», во всяком случае, в техническом смысле. Но в доме, в котором мы жили, можно было узнать куда больше, чем парадный вход и звонок: две комнаты в первом этаже почти совсем уцелели, а во втором этаже по какой-то нелепой случайности сохранились даже три — остаток стены поддерживал третью, хотя она, наверно, обрушилась бы под струей воды; от нашей квартиры, расположенной на третьем этаже, осталась одна комната, но передней стены, той, что выходит на улицу, не было, выше громоздился узкий высокий фронтон с зияющими глазницами окон; однако внимание мое привлекли два человека, которые разгуливали по нашей гостиной, как у себя дома. Один из них снял со стены репродукцию Терборха, которую очень любил

мой отец, подошел туда, где прежде были окна, и показал ее третьему человеку, стоявшему на тротуаре перед нашим домом, но тот покачал головой с таким видом, словно он находился на аукционе и эта вещь его не интересовала; тогда человек, орудовавший в нашей гостиной, вернулся к задней стене, повесил репродукцию на место и даже приподнял уголок, чтобы она не висела косо; меня растрогала такая аккуратность — он отошел на шаг назад, чтобы убедиться, что картина теперь и в самом деле висит правильно, и удовлетворенно кивнул. Тем временем его партнер снял со стены гравюру лохнеровского алтаря*, но и она явно не пришлась по вкусу человеку на тротуаре; в конце концов первый, который отнес на место Терборха, снова вышел вперед, сложил ладони рупором и крикнул:

— Есть пианино!

Человек на тротуаре заулыбался, закивал, тоже сложил ладони рупором и крикнул в ответ:

— Иду за ляжками!

Пианино мне видно не было, но я знал, где оно стояло: в правом углу гостиной, которого я не мог видеть и где как раз скрылся человек с гравюрой.

— А где ты жил в Кельне? — спросил бельгийский часовой.

— Да в той стороне, — сказал я и неопределенным жестом указал в сторону западной окраины.

— Слава богу, тронулись, — сказал часовой, повесил на шею автомат, который на время стоянки положил перед собой на днище кузова, и поправил фуражку, фламандский лев на ее околыше был уже совсем грязный. Когда мы выехали на площадь Хлодвиг, я понял причину затора: там, по всей видимости, происходило нечто вроде облавы. На площади стояли грузовики английской военной полиции, битком набитые штатскими с поднятыми руками, а вокруг теснилась толпа, молчаливая, встревоженная: пор-

Лохнер Стефан — немецкий живописец XV века, прозванный «Мастером Стефаном Кельнским», автор знаменитого алтарного складня в Кельнском соборе.

зительно много народу для такого тихого, разбитого города.

— Это черный рынок, — объяснил бельгиец, — время от времени здесь наводят порядок.

Я задремал еще до того, как мы выехали из Кельна, пожалуй, уже на Боннском шоссе, и мне приснилась мамина кофейная мельница: эту мельницу на лямках спускал вниз тот человек, который снял со стены Терборха, но другой, стоявший внизу, забраковал ее, и тогда первый вновь поднял мельницу наверх, отворил дверь в прихожую и хотел было ее приладить к стене, туда, где она всегда висела, слева от двери в кухню, но там больше не было стены, однако он все же упорствовал, и это стремление к порядку растрогало меня даже во сне. Указательным пальцем правой руки он пытался нащупать крюк, на котором прежде висела мельница, и, ничего не обнаружив, в озлоблении погрозил кулаком осеннему небу, которое отказывало кофейной мельнице в опоре; в конце концов он сдался, обвязал ее снова лямкой и спустил вниз; но человек внизу снова ее отверг, и тогда первому пришлось еще раз поднять ее наверх; затем он отвязал лямку и засунул мельницу, как нечто очень ценное, себе под куртку, а лямку аккуратно сматал — получилась плоская штука вроде диска, и он швырнул ее в лицо тому, что стоял внизу. Меня все время мучил вопрос, что случилось с тем человеком, который так же безуспешно предлагал Лохнера, но я никак не мог его обнаружить; что-то мешало мне посмотреть в угол, туда, где стояли пианино и письменный стол моего отца, и я приходил в отчаяние при мысли, что он, может быть, читает отцовские записные книжки. Человек с мельницей вернулся тем временем в гостиную и пытался теперь привинтить мельницу к дверной филенке, казалось, он твердо решил куда-то ее пристроить, и я был готов полюбить его еще прежде, чем обнаружил, что он один из тех многочисленных друзей нашей семьи, которые частенько находили утешенье, сидя за чашкой кофе под мамин-

ной мельницей, как раз тот самый, который погиб почти в самом начале войны, во время бомбежки.

Бельгийский часовой растолкал меня, когда мы подъезжали к Бонну.

— Открой глаза, парень, свобода не за горами!

Я выпрямился, одернул куртку и стал думать о всех тех, кто сиживал под сенью маминой кофейной мельницы: прогулявшие школу ребята, которых она освобождала от страха перед уроками, нацисты, которых хотела урезонить, ненацисты, которых пыталась приободрить; все они сидели на стуле под кофейной мельницей — мать утешала и обвиняла, защищала и давала срок одуматься, горькими словами разрушала их идеалы, кроткими словами дарила им то, что переживет эти трудные времена: слабым — жалость, преследуемым — утешение.

Старое кладбище, рынок, университет. Бонн. Через Кобленцские ворота въезжаем в Придворный парк.

— Прощайте, — сказал бельгийский часовой.

А Сопляк — его детское лицо побледнело от усталости — попросил:

— Напиши мне как-нибудь.

— Ладно, — пообещал я. — Я пошлю тебе всего моего Тухольского.

— Вот здорово! — обрадовался он. — И Клейста тоже?

— Нет, — сказал я. — Только то, что у меня есть в двух экземплярах.

Перед воротами в ограде из колючей проволоки, через которые нас окончательно выпускали на свободу, стоял человек с двумя большими корзинами: одна была полна яблок, в другой лежало несколько кусков мыла.

— Витамины, ребята, за кусок мыла — яблоко! Налетай! — выкрикивал он.

И я почувствовал, что у меня слюнки потекли. Я даже забыл, как выглядят яблоки; я сунул ему кусок мыла, получил яблоко и тут же откусил, потом постоял еще немного у ворот и поглядел, как выходят остальные; выкрикивать про яблоки было уже не к чему: торговля шла безмолвно — он брал из корзины

яблоко, получал взамен кусок мыла и кидал его в пустую корзину, раздавался глухой, но резкий звук; не все выходящие брали яблоки — не у всех было мыло, но дело шло так же быстро, как в магазине самообслуживания, и когда я доел свое яблоко, корзина с мылом оказалась уже до середины заполненной. Все шло как по маслу, без задержки, без слов, даже самые бережливые и расчетливые при виде яблока не могли устоять перед соблазном, и мне становилось их жалко. Родина любовно встречала своих сынов витаминами.

Прошло немало времени, прежде чем мне удалось найти в Бонне телефон; в конце концов какая-то девушка на почте объяснила мне, что телефоны теперь остались только у врачей и священников, да и то лишь у тех, которые не были нацистами.

— Они так ужасно боятся «вервольфов»*, — сказала девушка. — Нет ли у вас случайно сигаретки?

Я вынул пачку табака из кармана и спросил:

— Вам скрутить?

Но она сказала, что не надо, — это она и сама умеет. Я глядел, как она вынула из кармана пальто папиросную бумагу и быстро и ловко скрутила толстую сигарету.

— Кому вы хотите позвонить? — спросила она, и я ей ответил:

— Моей жене.

Она рассмеялась и сказала, что я совсем не похож на женатого человека. Я тоже свернул сигарету и спросил, нельзя ли здесь продать кому-нибудь кусок мыла. Мне нужны были деньги, деньги на дорогу, а у меня не было ни пфеннига.

— Мыла? — переспросила она. — Покажите-ка!

Я вытащил кусок мыла из-под подкладки шинели, она вырвала его у меня из рук, понюхала и сказала:

— Господи, настоящее «Пальмолив», кусок стоит... стоит... Я дам вам за него пятьдесят марок.

* «Вервольф» («Оборотень») — фашистская диверсионная организация, созданная к концу войны для борьбы с войсками союзников.

Я с изумлением взглянул на нее, и она поспешно добавила:

— Да, я знаю, за него можно получить и восемьдесят, но мне это не по карману.

Я не хотел брать столько денег, но тогда она просто сунула мне бумажку в карман шинели и выбежала на улицу. Она была, пожалуй, красива какой-то голодной красотой, которая придает голосам молоденьких девушек особую звучность.

Первое, что меня поразило на почте, а затем на улицах, когда я бродил по Бонну, это отсутствие студентов с корпоративными пестрыми лентами да еще запахи: все люди пахли дурно, и я понял, почему та девчонка пришла в такое неистовство от куска мыла. Я пошел на вокзал и попытался выяснить, как мне добраться до Оберкершенбаха (там жила та, на которой я женился), но никто мне ничего не смог сказать; я знал об этом местечке только то, что оно находится где-то вблизи Бонна, на берегу Эйфеля; карты тоже не было, так что и посмотреть было негде; очевидно, их отовсюду сняли из-за «вервольфов». Я всегда любил точно знать, где расположены интересующие меня места, и то, что я не знал и никак не мог выяснить, где находится Оберкершенбах, вселяло в меня тревогу. Я перебирал в уме всех знакомых в Бонне, адреса которых я помнил, но среди них не было ни врачей, ни священников; наконец мне пришло на ум имя одного профессора теологии, у которого я перед самой войной побывал вместе со своим другом. У этого теолога произошли какие-то конфликты с Римом из-за Индекса*, и мы просто зашли к нему, чтобы выразить свое сочувствие. Я уже не помнил названия улицы, на которой жил профессор, но знал, где она находится, и пошел вниз по Попельсдорфераллее, затем свернул налево и еще раз налево, узнал дом и облегченно вздохнул, прочтя фамилию на дверной табличке. Профессор сам мне открыл, он очень изменился, постарел, похудел, сгорбился и стал совсем седым.

* Индекс — список книг, запрещенных католической церковью для верующих.

— Вы меня, конечно, не помните, господин профессор, — сказал я. — Я заходил, когда была эта заваруха с Римом из-за Индекса, можно к вам на минутку?

Он рассмеялся при слове «заваруха» и, дав мне закончить, сказал:

— Прошу вас.

И повел меня в свой кабинет. Я сразу обратил внимание на то, что тут больше не пахнет табаком, в остальном все было, как и прежде: книги, ящики с картошкой, фикусы. Я сказал профессору, что слышал, будто телефоны теперь остались только у врачей и священников, и что мне необходимо позвонить жене. Он выслушал меня, не перебивая, что случается очень редко, а потом сказал, что, хотя он и священник, он не принадлежит к числу тех, у кого оставили телефон.

— Видите ли, — пояснил он, — на мне ведь не лежит забота о душах прихожан.

— Уж не «вервольф» ли вы? — спросил я и предложил ему табак: он так посмотрел на табак, что у меня сжалось сердце. Мне всегда становится невыносимо горько при виде стариков, которые вынуждены отказываться от того, что приносит им радость; когда он набивал свою трубку, руки его дрожали не только от старости. Наконец он зажег ее — у меня не было спичек, и я не мог ему помочь — и сказал мне, что телефоны есть не только у врачей и священников, но и во всех этих кафешантанах, которые открывали во множестве для оккупационных солдат, и что мне следует попытаться счастья там. Тут за углом как раз есть подобное заведение. Когда я, прощаясь, насыпал ему на стол несколько щепоток табака, он заплакал и сквозь слезы спросил меня, понимаю ли я, что делаю, и я ответил, что да и что я прошу его принять эти скромные щепотки как дань запоздалого восхищения той храбростью, которую он проявил тогда в споре с Римом. Я бы охотно подарил старику и кусок мыла — у меня оставалось за подкладкой шинели еще пять или шесть кусков, но побоялся, что от радости его хватит удар: он был такой старый и слабый.

Название «кафешантан» было явно чересчур бла-

городным для указанного мне заведения, но это обстоятельство меня смутило куда меньше, чем английский часовой у дверей. Он был еще молод и строго посмотрел на меня, когда я подошел к нему. Он указал мне на дощечку с надписью: «Немцам вход запрещен», но я сказал ему, что здесь работает моя сестра, что я только что вернулся на любимую родину, а ключ от дома у нее. Он спросил меня, как зовут мою сестру, и я решил, что вернее всего назвать самое немецкое из всех немецких женских имен, и я сказал: — Гретхен.

— Ах, это та блондиночка, — сказал он и пропустил меня; я избавляю себя от описания того, что увидел там внутри, ссылкой на соответствующую литературу «для девиц», на кино и телевидение; я избавляю себя даже от описания Гретхен (смотри выше), важно лишь то, что Гретхен оказалась на редкость сообразительной и тут же согласилась за кусок мыла «Пальмолив» соединить меня по междугородному с приходом Кершенбах (я надеялся, что таковой все же существует) и вызвать к телефону ту, на которой я женился. Гретхен сняла трубку, заговорила с кем-то по-английски — говорила она свободно — и объяснила мне, что ее друг попыбует заказать служебный разговор, так, мол, будет быстрее. Пока мы ждали, я предложил ей закурить, но у нее был лучший табак; тогда я попытался сунуть ей авансом обещанный кусок мыла, но она наотрез отказалась, она, мол, не возьмет за это вознаграждения, а когда я стал настаивать, она заплакала и сказала, что один ее брат в плену, другой — убит, и я пожалел ее, потому что таким девушкам, как Гретхен, плакать не к лицу; она созналась даже в том, что тоже католичка, но как раз в тот момент, когда она собиралась вытащить из ящика свою конфирмационную фотографию, раздался звонок; Гретхен сняла трубку и сказала:

— Господин священник.

Но я уже успел услышать, что там звучал не мужской голос.

— Минуточку, — сказала Гретхен и протянула мне трубку.

Я был так взволнован, что не мог удержать трубку, она в самом деле просто выпала у меня из рук, к счастью, прямо на колени Гретхен; Гретхен взяла ее и поднесла к моему уху, и тогда я сказал:

— Алло, это ты?

— Да, — сказала она, — а ты, ты где?

— Я в Бонне, — ответил я. — Война кончилась — для меня.

— Господи, — сказала она. — Просто не верится. Нет, это неправда.

— Это правда, — сказал я. — Ты получила тогда мою открытку?

— Нет, — сказала она. — Какую открытку?

— Когда я попал в плен... нам тогда разрешили написать по открытке.

— Нет, — сказала она. — Вот уже восемь месяцев, как я ничего о тебе не знаю.

— Сволочи! — сказал я. — Проклятые сволочи!.. Скажи мне только еще, где находится Кершенбах?

— Я... — она плакала так сильно, что не могла уже говорить, я слышал, как она всхлипывала и глотала слезы, пока, наконец, не прошептала: — Жди на вокзале в Бонне, я приеду за тобой.

Больше я не слышал ее голоса, кто-то сказал еще что-то по-английски, но я не понял, что именно.

Гретхен поднесла трубку к своему уху, еще мгновение послушала и, наконец, положила ее, покачав головой. Я поглядел на нее и понял, что не могу уже предложить ей мыло. «Спасибо» сказать я ей тоже не мог, слово это показалось мне слишком глупым. Я беспомощно поднял руки и выбежал.

Я шел назад к вокзалу, и в ушах у меня звенел голос, в котором никогда не звучали брачные ноты.

С ТЕХ ПОР МЫ ВМЕСТЕ

Странно: ровно за пять минут до начала облавы я вдруг почему-то заволновался. Я боязливо огляделся вокруг, медленно двинулся по набережной к вокзалу и совсем не был удивлен, когда увидел, что

сюда мчится целая туча грузовиков, битком набитых полицейскими в красных фуражках. Полицейские оцепили квартал, блокировали все входы и выходы и начали проверку документов. Все это произошло в мгновение ока. Я стоял как раз за оцеплением и спокойно закурил, в то время как многие там, в кольце, побросали недокуренные сигареты. «Жаль», — подумал я и невольно прикинул в уме, сколько сейчас валяется на земле зря потраченных денег. Грузовики быстро наполнялись задержанными. Франц тоже оказался среди них. Он безнадежно махнул мне рукой, словно говоря: что поделаешь, судьба! Один из полицейских обернулся, чтобы поглядеть, кому это он сигналил. Тогда я побрел прочь. Я шел медленно, очень медленно. Господи, хоть бы и меня забрали! Топать в свою конуру мне не хотелось, и я поплелся к вокзалу. Костылем я сшибал камушки, которые попадались мне на пути. Солнце припекало, а с Рейна дул легкий ветер и тянуло прохладой.

В зале ожидания я передал официанту Фрицу двести сигарет и сунул полученные деньги в задний карман брюк. Теперь при мне товара больше не было, осталась только одна пачка — для себя. Я долго терся в толпе и в конце концов нашел свободный стул и заказал себе чашку бульона и сто граммов хлеба. Тут я снова увидел Фрица, он кивал мне издали, но мне не хотелось вставать с места. Тогда он сам протиснулся ко мне. Из-за его спины выглядывал коротышка Маусбах, носильщик. Оба они были явно возбуждены.

— Ну и нервы у тебя, парень, — пробормотал Фриц и, покачав головой, ушел, оставив возле меня коротышку Маусбаха. Тот никак не мог отдышаться.

— Ты... — начал он, запинаясь. — Ты должен смыться, понял?.. Они обыскали твою конуру и нашли кокаин. Понял?

Со страха он захлебывался слюной. Я потрепал его по плечу, чтобы успокоить, и дал двадцать марок.

— Ладно, — сказал он и засеменял прочь.

Но тут мне в голову пришла одна мысль, я встал и окликнул его:

— Послушай, Хайни, не мог бы ты припрятать где-нибудь мои книжки и пальто? Недельки через две я вернусь. А все остальное барахло, которое там есть, возьми себе...

Он кивнул. На него можно положиться. Я это знал.

«Жаль — восемь тысяч марок загремели ко всем чертям. До чего же все зыбко, — подумал я. — До чего зыбко...»

Когда я вновь уселся, небрежно сняв сумку со стула, я почувствовал на себе несколько любопытных взглядов, но тут же словно утонул в гудящей толпе. Нигде я не был бы в таком абсолютном одиночестве, один на один со своими мыслями, как здесь, среди этой немыслимой толчеи и суматохи зала ожидания, — это я знал твердо.

Вдруг я почувствовал, что мой равнодушный невидящий взгляд, бесцельно блуждающий по залу, почему-то все время застревает на одном и том же месте, словно его там что-то приковывает. Застревает помимо моей воли, потом стремительно скользит дальше, нигде не задерживаясь, и снова на том же месте застревает.

Я очнулся, словно от глубокого сна, и посмотрел туда уже видящими глазами. Через два столика от меня сидела девушка в светло-бежевом пальто и желтовато-коричневой шапочке, из-под которой выбивалась прядь черных волос. Девушка читала газету. Я видел ее склоненную фигуру, кончик носа и тонкие, спокойные руки. Ноги ее я тоже видел — красивые, стройные и... чистые. Да, представьте себе, чистые ноги. Не знаю, как долго я смотрел на нее. Время от времени она переворачивала газетный лист, и тогда я видел часть ее лица. Вдруг она откинула голову и на миг подняла на меня серые глаза, серые и отчужденные. Затем она вновь уткнулась в газету.

Этот недолгий взгляд прямо вонзился в меня.

Я упорно не сводил с нее глаз, и сердце у меня почему-то забилося. Наконец она прочла газету, облокотилась о крышку стола и каким-то невероятно отчаянным жестом взяла стакан с пивом и отхлебнула глоток. И тут я увидел ее лицо. До чего же оно было

бледно! Тонкий маленький рот, прямой, благородной формы нос и глаза, эти огромные, серьезные серые глаза! Как траурный креп, падали на плечи волнистые пряди черных волос.

Не знаю, сколько времени я глядел на нее: двадцать минут, час или больше. Она все чаще и со все большим беспокойством останавливала на мне свой печальный взгляд... На ее лице не было и тени того возмущения, которое бывает в таких случаях у молодых девушек. Только тревога и страх.

Мне совсем не хотелось ни тревожить ее, ни пугать, но я не мог отвести от нее глаз.

В конце концов она порывисто встала, перекинула через плечо старый хлебный мешок и торопливо вышла из зала.

Я пошел за ней следом. Не оборачиваясь, она поднималась по лестнице к контролю. Я не выпускал ее из виду ни на мгновение. Пока я торопливо, на ходу покупал перронный билет, она успела пройти далеко вперед. Зажав костыль под мышкой, я попробовал бежать. Я едва не потерял ее в мрачном тоннеле, который вел к перрону. Догнал я ее уже наверху. Она стояла, опершись о полуразрушенную стенку бывшего перронного павильона. Слово в оцепенении глядела она на рельсы и даже не обернулась, когда я подошел.

Холодный ветер с Рейна врывался под свод крытого перрона. Смеркалось. На платформе столпилось много народа со свертками, рюкзаками, ящиками, чемоданами. На лицах у всех было какое-то затравленное выражение, люди неприязненно косились в ту сторону, откуда дул ветер, и зябко ежились. Впереди, охваченное полукругом свода, спокойно синело небо, расчерченное на квадраты решеткой перекрытия.

Я медленно ковылял по платформе, время от времени поглядывая, не ушла ли девушка. Но всякий раз оказывалось, что она все еще стоит в той же позе, чуть согнув колени и прислонившись к разрушенной стенке перронного павильона. Она не сводила глаз с рельсов, блестящих на дне неглубокой черной выемки.

Наконец поезд, пятясь, медленно вполз под перронный свод. Я загляделся на паровоз, а девушка тут же вскочила в один из вагонов и скрылась в купе. Я потерял ее из виду и какое-то время не мог найти. Но вдруг в окне последнего вагона мелькнула ее желтая шапочка. Я быстро вошел в купе и сел как раз против нее. Мы сидели так близко, что почти касались коленями друг друга. Она посмотрела на меня спокойно и серьезно, только чуть сдвинув брови, но по выражению ее больших серых глаз я понял: она все это время знала, что я следую за ней по пятам. И пока мчавшийся поезд погружался во мглу сгущающихся сумерек, мой взгляд беспомощно цеплялся за ее лицо. Я был не в силах вымолвить слово. Поля за окном потонули во тьме, и силуэты деревень тоже поглотила ночь. Стало холодно.

«Где я буду нынче спать? — думал я. — Где найти хоть немного покоя?.. Если бы я мог уткнуться лицом в эти черные волосы... Больше мне ничего не надо, ничего...»

Я закурил. Она каким-то удивительно зорким взглядом скользнула по пачке сигарет. Я протянул ей пачку и сказал хрипло:

— Пожалуйста!

Мне вдруг показалось, что мое сердце вот-вот выпрыгнет из грудной клетки. С минуту она колебалась, и, несмотря на полумрак, я заметил, что она покраснела. Потом решила и взяла сигарету. Она курила жадно, глубокими затяжками.

— Вы очень щедры, — сказала она как-то глухо и загадочно. А когда из соседнего купе до нас донесся голос проводника, мы, словно по команде, откинулись назад и притворились спящими. Но все же я увидел сквозь неплотно сжатые веки, что она засмеялась. Проводник вошел в наше купе, я исподтишка следил за тем, как он освещает фонариком билеты и что-то на них отмечает. Потом яркий свет ударил мне прямо в лицо. Луч дрожал, и я понял, что проводник, видно, колеблется, будить меня или нет. Потом свет перескочил на нее. До чего же она была бледна, как печально белел ее лоб!

Сидевшая рядом со мной толстуха вдруг схватила проводника за рукав и зашептала ему что-то на ухо. Я расслышал только:

— Американские сигареты... едут зайцем...

Проводник грубо тряхнул меня за плечо.

Когда я тихо спросил ее, куда ей ехать, в купе воцарилась мертвая тишина. Она назвала станцию, и я купил туда два билета да еще уплатил штраф. Проводник ушел, но наши попутчики продолжали хранить ледяное, презрительное молчание, и в этой затянувшейся паузе удивительно тепло и вместе с тем чуть насмешливо прозвучал ее голос:

— И вам туда же?

— Могу и туда... У меня там есть друзья. А постоянного места жительства у меня нет.

— Вот как, — только и сказала она в ответ и снова откинулась на спинку сиденья.

Купе потонуло в темноте, и я видел ее лицо лишь изредка, когда на какое-то мгновение его освещал пролетающий мимо фонарь.

Когда мы сошли с поезда, было уже совсем темно. Темно и тепло. Мы очутились на вокзальной площади и увидели, что городок уже крепко спит. Домики под сенью нежной зелени дышали покоем и безмятежностью.

— Я вас провожу, — сказал я тихо. — Такая темнень...

Тогда она вдруг остановилась. Это было как раз у фонаря. Она посмотрела на меня в упор и сказала, с трудом разжимая губы:

— Если бы я только знала, куда...

Лицо ее встрепенулось, как платок от дуновения ветра. Нет, мы не стали целоваться. Мы медленно вышли из города и в конце концов залезли в стог сена. У меня, конечно, не было никаких друзей в этом тихом городке, который был для меня таким же чужим, как любой другой. Под утро, когда стало холодно, я подполз к ней вплотную, и она накрыла меня полой своего тоненького пальто. Так мы грели друг друга своим дыханием и своей кровью.

С тех пор мы вместе — это в наше-то время!

БЛЕДНАЯ АННА

С войны я вернулся только весной 1950 года и не нашел в нашем городе ни одного знакомого. К счастью, родители оставили мне в наследство немного денег. Я снял комнату и целые дни лежал на кровати, курил и ждал, а чего ждал, сам не знаю. Работать мне не хотелось. Я давал хозяйке деньги, она покупала продукты и готовила еду. Всякий раз, когда она приносила кофе или обед, она оставалась в моей комнате дольше, чем мне хотелось бы. Ее сын был убит в деревушке, которая называлась Калиновка, и когда она входила ко мне, она ставила поднос на стол и направлялась в тот темный угол, где стояла моя кровать. Обычно я лежал в каком-то полусне, много курил и тушил докуренные сигареты прямо о стену, и поэтому стена над кроватью вскоре оказалась вся в черных пятнах. Хозяйка моя была на редкость худая, и когда ее бледное изможденное лицо вдруг возникало в полумраке над моей кроватью, я пугался. Сперва я думал, что она сумасшедшая, потому что у нее были какие-то странные, белесые и очень большие глаза и она всякий раз спрашивала меня о своем сыне.

— Вы уверены, что не знали его? Деревня называется Калиновка, неужели вы там не были?

Но я никогда не слышал о деревне, которая называется Калиновка, и я неизменно поворачивался лицом к стене и отвечал:

— Нет, я в самом деле не помню такого места.

Но хозяйка моя не была сумасшедшей, напротив, она любила порядок, и мне было больно, когда она задавала мне вопросы о сыне. А спрашивала она о нем по два-три раза в день, и когда я заходил к ней на кухню, она мне всегда показывала его портрет, вернее, цветную фотографию, которая висела над диваном: смеющийся белобрысый парень в парадной форме пехотинца.

— Его фотографировали в гарнизоне, — объясняла она мне всякий раз, — перед самой отправкой на фронт.

Это был поясной портрет: солдат в каске на фоне

бутафорского замка, увитого бутафорским плющом.

— Он работал трамвайным кондуктором, — в который раз рассказывала мне моя хозяйка, — старательный был парень.

И затем она всегда протягивала мне картонную коробку с фотографиями, которая стояла у нее на ночном столике, заваленном лоскутками для заплат и моточками штопки. И мне приходилось одну за другой перебирать очень много карточек ее сына: групповые снимки, сделанные в школе — в первом ряду всегда кто-нибудь сидел, зажав между коленями грифельную доску, на которой было написано сперва «VI», потом «VII» и, наконец, «VIII»; перехваченные красной резинкой, отдельно хранились фотографии сына во время причастия: мальчик в черном, похожем на фрак сюртуке, с гигантской свечой в руках стоял перед транспарантом, на котором была изображена золотая чаша; потом шли фотографии, где он был запечатлен у токарного станка: чумазый парнишка — ученик слесаря — с напильником в руках.

— Эта работа была для него слишком тяжелой, — неизменно заключала хозяйка и показывала мне его последний снимок, перед тем, как он стал солдатом: он был в форме трамвайного кондуктора и стоял у вагона девятого маршрута на конечной остановке, там, где трамвай делает кольцо, и я узнавал ларек, где продают лимонад и где я до войны много раз покупал сигареты; узнавал я и тополя, которые все еще там стоят, и виллу с золотыми львами у входа, которых уже нет, и я вспоминал девушку, о которой думал на войне: красивую, с узкими глазами и бледным лицом. Она часто садилась в девятый номер на конечной остановке.

Я всегда подолгу разглядывал фотографию, которая изображала сына моей хозяйки на конечной остановке девятого, и думал в это время о многом: о девушке и о мыловаренной фабрике, на которой я тогда работал, и я словно слышал лязг трамвая, видел красный лимонад, который пил в жару в том самом ларьке, и зеленую рекламу сигарет, и снова девушку.

— Может быть, — допытывалась моя хозяйка, — может быть, вы все-таки знали его?

Я качал головой и прятал этот снимок в картонную коробку. Он был отпечатан на глянцевой бумаге и казался еще новым, хоть ему уже было восемь лет.

— Нет, нет, — повторял я. — И Калиновку я не знаю. В самом деле, не знаю.

Мне часто приходилось бывать у нее на кухне, а хозяйка часто заглядывала ко мне в комнату, и так уж получалось, что целый день я думал о том, что хотел забыть, — о войне, и я стряхивал пепел за кровать и гасил окурки о стену.

Иногда по вечерам, лежа на кровати, я прислушивался к шагам девушки в соседней комнате или к брани югослава, жившего в каморке при кухне, который, входя, всегда искал выключатель.

Я прожил там уже недели три и за это время по меньшей мере раз пятьдесят разглядывал фотографию Карла на конечной остановке девятого трамвая, как вдруг заметил, что вагон, перед которым он стоял с кондукторской сумкой на боку и улыбался, не был пуст. Я впервые внимательно взгляделся в карточку и увидел, что в вагоне сидит смеющаяся девушка. Это была та самая красивая девушка, о которой я так часто думал на войне. Хозяйка подошла ко мне, внимательно посмотрела мне в лицо и сказала:

— Теперь вы его узнали, да?

Затем она встала за мой стул и через мое плечо уставилась в фотографию, а из ее передника — она его придерживала одной рукой — подымался и обдал меня сзади запах зеленого горошка.

— Нет, — тихо ответил я. — Я узнал девушку.

— Девушку? — переспросила она. — Это была его невеста, но, может быть, оно и к лучшему, что он ее больше не увидел...

— Почему? — спросил я.

Она не ответила, отошла от меня, села на стул у окна и стала лущить стручки гороха. Потом, не глядя на меня, спросила:

— Вы знали эту девушку?

Крепко сжимая в руке фотографию, я поглядел на хозяйку и рассказал ей о мыловаренной фабрике, о конечной остановке девятого номера и о красивой девушке, которая там всегда садилась.

— И это все?

— Да, — ответил я.

Она высыпала горошек из передника в сито, открыла кран и долго стояла, повернувшись ко мне своей узкой спиной.

— Когда вы ее увидите, вы поймете, почему я сказала: к лучшему, что он ее больше не видел.

— Я ее увижу? — переспросил я.

Она вытерла руки о передник, подошла ко мне и осторожно взяла у меня из рук фотографию. Лицо хозяйки, казалось, стало еще уже, а глаза глядели куда-то мимо меня; она тихонько положила мне руку на плечо.

— Анна живет в соседней с вами комнате. Мы зовем ее Бледная Анна — у нее лицо белое как полотно... Вы действительно ее еще не видели?

— Нет, — сказал я, — я ее еще не видел, только несколько раз слышал ее шаги. Что же с ней случилось?

— Я не люблю об этом говорить. Но уж лучше вам это знать. Ее лицо изуродовано — оно все в шрамах. Взрывной волной ее швырнуло на стеклянную витрину. Вы ее не узнаете.

Вечером я долго ждал. Наконец я услышал шаги в прихожей. Но на этот раз меня постигло разочарование — долговязый югослав удивленно поглядел на меня, когда я как угорелый выскочил ему навстречу. В смущении я сказал: «Добрый вечер», — и вернулся к себе в комнату.

Я пытался представить себе Анну, изуродованную шрамами, но у меня ничего не получалось, а когда я мысленно видел ее лицо, оно было, как и прежде, красивое, хотя и пересеченное шрамами. Я думал о мыловаренной фабрике, о родителях и о другой девушке, с которой я в то время часто встречался. Ее звали Элизабет, но она называла себя Мути, и когда я ее целовал, она всегда смеялась, и я казался себе болваном.

С фронта я писал ей открытки, а она посылала мне посылки с коржиками, которые сама пекла, но дорогой коржики всегда превращались в труху, а еще она посылала мне газеты и папиросы, а в одном из своих писем написала: «Вы победите, и я так горжусь, что ты в этом участвуешь». Но я сам ничуть не гордился тем, что в этом участвую, а когда приехал в отпуск, не написал ей, а стал встречаться с дочкой папиросника, который жил в нашем доме. Я давал ей мыло, которое получал на фабрике, а она давала мне за это сигареты, и мы вместе ходили в кино и на танцы, а однажды, когда ее родителей не было дома, она разрешила мне подняться к ней в комнату, и в темноте я повалил ее на кушетку, но когда я склонился над ней, она повернула выключатель и лукаво мне улыбнулась, и в вспыхнувшем резком свете я увидел на стене цветной портрет Гитлера, а вокруг него на розовых обоях в форме сердца были приколоты кнопками фотографии мужчин с непреклонными лицами. Все они были в касках, все явно вырезаны из иллюстрированных журналов. Я поднялся с кушетки, на которой лежала девушка, закурил и ушел. Потом, уже снова на фронте, я получил открытки от обеих девушек, обе они писали, что я плохо себя вел, но я им не отвечал...

Я долго ждал Анну, выкурил много сигарет в темноте, многое передумал, а когда, наконец, услышал, как щелкнул ключ в замке, у меня не хватило духа встать и выйти в переднюю, чтобы увидеть ее лицо. Я слышал, как она отперла дверь, слышал, как она, напевая, ходила взад-вперед по комнате, а потом я вышел в прихожую и принялся ждать. Вдруг у нее стало тихо, она больше не ходила взад-вперед и не напевала больше, а я боялся постучать к ней. Я слышал, как долговязый югослав, что-то бормоча, шагал у себя, слышал, как в кухне у хозяйки кипел кофейник, но в комнате Анны была полная тишина, и сквозь открытую дверь своей я видел на обоях черные пятна от несметного количества потушенных сигарет.

Долговязый югослав, видимо, прилег, я больше не слышал его шагов, слышал только, что он продолжает что-то бормотать, вода на кухне перестала кипеть, и я

услыхал, как звякнула крышка кофейника, когда хозяйка его закрывала. В комнате Анны было по-прежнему тихо, и мне вдруг пришло в голову, что она, наверное, потом мне расскажет, о чем она думала, пока я стоял перед ее дверью, и она в самом деле потом мне это рассказала.

Я глядел на картину, висевшую возле двери. На ней было изображено серебристое сверкающее озеро, из которого вынырнула русалка с мокрыми белокурыми волосами и завлекающе улыбалась крестьянскому пареньку, притаившемуся за очень зелеными кустами. Я видел половину левой груди русалки, у нее была очень белая и чуть-чуть слишком длинная шея.

Я не знаю точно когда, но потом я коснулся дверной ручки и, прежде чем я нажал на нее и толкнул дверь, я уже знал, что выиграл Анну: все ее лицо было покрыто мелкими, голубовато мерцающими шрамами. Из ее комнаты потянуло запахом грибов, которые тушились на сковородке; я широко распахнул дверь, положил ей руку на плечо и попытался улыбнуться.

ДЯДЯ ФРЕД

Только благодаря дяде Фреду я теперь без отвращения вспоминаю первые послевоенные годы. Как-то летним днем 1945 года он вернулся с войны. Он пришел не в парадном мундире, и единственной его регалией была консервная банка на веревке, болтавшаяся у него на шее, а единственным багажом, не обременявшим тяжестью, — несколько окурков, которые он заботливо хранил в портсигаре. Он обнял мать, расцеловал нас с сестрой и, пробормотав: «Хлеба... спать... курить...», завалился на диван — нашу семейную реликвию, так что запечатлелся в моей памяти таким верзилкой, которому наш диван оказался короток, и дяде приходилось поджимать колени либо, если он хотел вытянуться во весь рост, свешивать ноги с дивана. И то и другое вызывало его страшный гнев, и он клял на чем свет стоит наших деда и бабу, стараниями которых был приобретен этот ценный

предмет, а все их достойное поколение называл вонючим и был исполнен глубочайшего презрения к едко-розовой диванной обивке, выбранной ими по своему вкусу, однако это ему нисколько не мешало с вожделением предаваться сну.

В то время мне было четырнадцать лет, и на мне лежала неблагоприятная обязанность осуществлять связь между нашей добропорядочной семьей и тем памятным местом, которое называли черным рынком. Отец мой был убит на войне, мать получала крошечную пенсию, и моя задача заключалась в том, чтобы чуть ли не ежедневно загонять жалкие остатки того немногого, что у нас уцелело, или выменивать их на хлеб, уголь и табак. Впрочем, уголь тогда был, пожалуй, главным поводом для нарушения понятия «частная собственность», того самого нарушения, которое ныне определяют жестким словом «кража». Итак, чуть ли не каждый день я отправлялся воровать уголь или загонять барахло, и хотя моей матери была очевидна необходимость подобной сомнительной деятельности, она не могла без слез глядеть на меня, когда по утрам я отправлялся выполнять мои сложные обязанности. Мне поручали, к примеру, презрять подушку в хлеб, фаянсовую миску в манную крупу, а трехтомник Густава Фрейтага в пятьдесят граммов кофе — задачи, которые я выполнял хоть и со спортивным азартом, но не без страха и горечи. Дело в том, что понятие о стоимости — так это тогда называли взрослые — было сильно сдвинуто, и время от времени меня несправедливо подозревали в мошенничестве, потому что цена того или иного предмета, подлежащего продаже, не соответствовала той, которую назначала мать. Нелегкая задача быть посредником между двумя мирами, ценности которых только кажутся равнозначными.

Появление в нашем доме дяди Фреда вселило в нас всех надежду на энергичную мужскую помощь, однако сначала он нас разочаровал. Уже с первого дня его аппетит внушил мне ужас. И когда я без колебаний поделился своей тревогой с матерью, она попросила дать дяде Фреду возможность «сперва при-

ти в себя». Приходил в себя он почти восемь недель. Несмотря на проклятья по адресу короткого дивана, дядя Фред отлично спал на нем ночью да частенько подремывал и днем, а в редкие минуты бодрствования страдальческим голосом объяснял нам, какое положение для сна он все же предпочитает. Насколько мне помнится, он считал в то время наилучшей позу спринтера на старте. Дядя Фред любил после обеда удобно улечься на диване и, подтянув колени к подбородку, с аппетитом сжевать здоровенный ломоть хлеба, а потом, выкурив самокрутку, дрыхнуть до самого ужина. Он был долговяз, очень бледен, на подбородке у него темнел шрам в форме венчика, который придавал ему сходство с поврежденным мраморным памятником. И хотя аппетит дяди Фреда и его потребность во сне меня просто пугали, я его все-таки очень любил. Только с ним мог я обсуждать проблемы черного рынка без риска нарваться на скандал. Видимо, дядя Фред был в курсе дела и знал, какая глубокая пропасть пролегла между двумя мирами в понимании стоимости.

Он никогда не поддавался на наши просьбы рассказать о войне. «Не стоит того», — говорил он. Единственное, что он еще иногда рассказывал, это как он проходил медкомиссию. Освидетельствование заключалось главным образом в том, что какой-то человек в форме громко приказал ему помочиться в пробирку, однако этот приказ дядя Фред не сумел тотчас же выполнить, в силу чего его военная карьера с самого начала не задалась.

Дядя Фред уверял, что живой интерес великой Германии к его моче вселил в него глубокое недоверие к рейху, которое за шесть лет военной службы полностью оправдалось.

В мирное время он был бухгалтером, и когда истекла четвертая неделя его пребывания на нашем диване, мать с сестринской кротостью попросила его узнать, как идут дела у фирмы, где он прежде служил, однако это задание дядя Фред втихую перепоручил мне, а я после долгих и утомительных поисков в разрушенной части города не обнаружил ничего,

кроме груды битого кирпича метров в восемь высотой. Дядю Фреда явно успокоили результаты моей разведки. Он откинулся на спинку дивана, свернул самокрутку, с торжеством взглянул на маму и попросил достать его вещи. В углу нашей спальни издавна стоял аккуратно заколоченный ящик. Сгорая от любопытства, мы открыли его с помощью клещей и молотка; в ящике оказалось: штук двадцать романов среднего формата и среднего достоинства, золотые карманные часы, запыленные донельзя, но на ходу, две пары подтяжек, несколько записных книжек, диплом торговой палаты и сберегательная книжка на 1200 марок. Сберегательную книжку передали мне, чтобы я получил по ней деньги, а остальное добро было решено продать, в том числе и диплом торговой палаты, на который, однако, не нашлось покупателя, потому что имя дяди Фреда было там обозначено черной тушью.

Таким образом, целый месяц мы были избавлены от забот о хлебе насущном, угле и табаке — обстоятельство, которое не могло меня не радовать, тем более что к тому времени школы гостеприимно распахнули свои двери и мне было предложено продолжить свое образование.

Даже теперь, когда я уже давно его завершил, я сохраняю самое нежное воспоминание о тех супах, которыми нас кормили в школе, потому что это дополнительное питание доставалось нам почти без боя и придавало всему учебному процессу веселую и остро современную нотку.

Но основным событием тех дней было то, что по прошествии двух месяцев со дня своего радостного возвращения домой дядя Фред взял бразды правления в свои руки.

Как-то утром — дело было в конце лета — он встал со своего дивана, побрился так тщательно, что мы даже испугались, потребовал чистую сорочку, взял мой велосипед и укатил.

Вернулся он домой поздно, и его возвращение было отмечено страшным грохотом и сильным запахом вина. Вином несло от дяди, а грохот производили

полдюжины ведер из оцинкованного железа, которые были связаны между собой толстой веревкой. Наше недоумение рассеялось, лишь когда дядя Фред объявил, что намерен открыть в нашем разбомбленном городе торговлю цветами. Мать, исполненная недоверия к миру новых ценностей, решительно отвергла этот план, уверяя, что на цветы здесь не будет никакого спроса. Но она ошиблась.

В одно достопамятное утро мы притащили к трамвайной остановке, где дядя Фред решил открыть торговлю, ведра, полные цветов. И сейчас еще я отчетливо помню эти желтые и красные тюльпаны и влажные гвоздики и никогда не забуду, как великолепен был мой дядя, когда он стоял посреди серой толпы и груд битого кирпича и во весь голос орал: «Цветы без карточек!..» О том, как пошли его дела, и говорить нечего. Через месяц он был уже владельцем трех дюжин оцинкованных ведер и открыл две новые торговые точки, а спустя еще месяц стал налогоплательщиком. Мне казалось, что весь город изменил свой облик: на многих углах появились лотки с цветами — спрос превышал предложение; все больше и больше ведер из оцинкованного железа стояло на тротуарах, люди строили киоски из досок, мастерили небольшие тележки.

Так или иначе, у нас в доме отныне всегда были не только свежие цветы, но и свежий хлеб, а также уголь, и мне не надо было больше посредничать между двумя мирами, промышляя на черном рынке, — обстоятельство, к слову сказать, содействовавшее моему нравственному самоусовершенствованию. Дядя Фред давно уже стал человеком с положением: его торговля по-прежнему процветает, он обзавелся машиной, прочит меня в свои наследники, и я получил экономическое образование, чтобы еще до вступления в права наследования вести все налоговые дела фирмы.

И когда я теперь вижу этого грузного человека за рулем красной сверкающей машины, мне странно, что в моей жизни было такое время, когда его аппетит стоил мне многих бессонных ночей.

НЕ ПОПАВШАЯ В СВОДКИ

Они кое-как подштопали мои ноги и определили меня на работу, которую можно делать сидя: считать прохожих на новом мосту. Моим хозяевам необходимо постоянное подтверждение их деловитости. Они просто млеют от такой чепухи, как цифры, и день-деньской мои губы шевелятся с неутомимостью часового механизма — я беззвучно шепчу числа, чтобы вечером торжественно преподнести им вожделенный итог. Они так и сияют, когда я объявляю им результат, и чем большее число я называю, тем больше они радуются. У них есть все основания засыпать с улыбкой на устах, ибо по их новому мосту ежедневно проходят тысячи людей...

Однако вся их статистика ничего не стоит. Мне жаль, но это так. Говоря по чести, я не слишком заслуживаю доверия, хоть и произвожу самое лучшее впечатление. Мне доставляет удовольствие иногда утаить от них нескольких прохожих, а то вдруг, исполненный сострадания, подбросить им сразу десяток. Их счастье в моих руках. Когда я раздражен или когда остаюсь без курева, я вообще перестаю считать и вечером называю какую-то среднюю цифру, а случается, и заведомо ниже средней. Но когда у меня легко на душе, когда я весел, я проявляю свое великодушие в том, что называю пятизначное число. Ведь это доставляет им такую радость! Они буквально вырывают сводку у меня из рук, глаза их сияют, и они дружески похлопывают меня по плечу.

Они ничего не подозревают! И тут же принимают за делить, множить, выражать в процентах и делать еще бог весть что. Они узнают, сколько человек прошло по мосту за минуту, и высчитывают, сколько по нему пройдет за десять лет. Они любят далекое будущее. Они большие специалисты по далекому будущему. И все же, как мне ни грустно, все их расчеты ничего не стоят...

Когда по мосту проходит Она — а это случается дважды в день, — у меня что-то обрывается внутри. Сердце просто-напросто перестает биться до тех пор,

пока Она не свернет в аллею. И уж, конечно, те, кто в это время проходит мимо, не попадают в мою сводку. Эти две минуты принадлежат мне, только мне, и я никому не позволю отнять их у меня. Когда Она вечером возвращается из своего кафе-мороженого (я узнал, что она работает в кафе-мороженом), когда Она проходит по той стороне тротуара, не глядя на мои застывшие губы, которые должны беспрестанно бормотать цифры, сердце снова замирает в груди, и я принимаюсь за счет, лишь когда Она скрывается из виду. И все мужчины и женщины, кому посчастливилось в эти минуты пройти мимо моих невидящих глаз, не становились бледными тенями статистической вечности, не превращались в бесплотное население отчетных сводок, предвещающих далекое будущее...

Я Ее люблю, это ясно. Но Она об этом ничего не знает, и мне бы не хотелось, чтобы узнала. Она и понятия не должна иметь о том, каким невероятным образом путает все их расчеты. Пусть Она, ни о чем не догадываясь, ничего не ведая, идет в свое кафе, пусть ступает там своими легкими ножками и откидывает с лица тяжелую прядь каштановых волос, пусть получает побольше чаевых... Я Ее люблю. Да, это совершенно ясно, я Ее люблю.

На днях они меня проверяли. Парень, который сидит на другом конце моста и считает проезжающие машины, вовремя предупредил меня, и я глядел в оба. Я считал как одержимый. Электросчетчик не работал бы исправней.

Старший статистик собственной персоной стал на той стороне моста и принялся считать прохожих, а по прошествии часа сличил свой результат с моим. У меня получилось только на одного человека меньше, чем у него. Ведь как раз в это время по мосту прошла Она, и я ни за что на свете не отправил бы это очаровательное существо в далекое будущее, чтобы Ее множили и делили и в конце концов превратили бы в ничто, выраженное в процентах. Сердце мое и так сблизилось кровью оттого, что я вынужден считать и не могу, как всегда, глядеть Ей вслед. Но все же я был очень благодарен парню, учитывающему маши-

ны, за предупреждение. Ведь мое существование буквально висело на волоске.

Старший статистик похлопал меня по плечу и сказал, что я молодец и человек надежный.

— За час ошибиться на одного человека — сущие пустяки, — сказал он. — Мы ведь все равно производим все расчеты с известной поправкой. Я похлопочу, чтобы вас перебросили на гужевой транспорт.

Считать телеги — вот это работа! О такой я не смел и мечтать. За день по мосту проезжает не больше двадцати пяти телег. А это значит, что не чаще, чем раз в полчаса, я должен буду мысленно называть следующее число. Это ли не жизнь!

Да что и говорить, перейти на телеги было бы роскошно. От четырех до восьми мост вообще закрыт для гужевого транспорта, и я мог бы пошататься по улицам или посидеть в кафе-мороженом и все глядеть на Нее. А может быть, даже немного проводить Ее, когда Она пойдет домой. Моя нежная, не попавшая в сводки Любовь.

ПРОЩАНИЕ

Мы были в том отвратительном настроении, которое всегда наступает, когда уже давным-давно простился, но продолжаешь стоять на перроне, потому что поезд еще не ушел. Перрон как перрон, толчея, грязь, запах отработанного пара и шум, оглушающий шум — гул голосов и лязг составов.

Шарлотта стояла у окна в длинном коридоре вагона, ее непрерывно толкали, отпихивали в сторону, и все ее ругали, но не могли же мы в последние минуты, в эти бесценные последние минуты нашей совместной жизни объясниться жестами через стекло закрытого окна ее переполненного купе...

— Как мило с твоей стороны! — сказал я уже в третий раз. — В самом деле, как мило, что ты зашла за мной...

— Прошу тебя, не надо... Мы уже так давно знакомы... Пятнадцать лет...

— Да... да... нам уже по тридцать... И все же это еще не причина...

— Прошу тебя, перестань... Да, нам уже по тридцать... Столько, сколько русской революции..

— Столько, сколько голоду и всему дерьму у нас в Европе...

— Столько, сколько войне...

— Нет, чуть поменьше...

— Ты права, мы еще очень молоды... — Она засмеялась. — Ты что-то сказал? — нервно спросила она, потому что в эту минуту кто-то тяжелым чемоданом отеснил ее от окна.

— Нет, это нога.

— Ты должен с ней что-нибудь сделать.

— Да, обязательно что-нибудь сделаю, она и в самом деле слишком расшумелась.

— Тебе не трудно стоять?

— Нет...

Собственно, я хотел сказать, что люблю ее, но уже пятнадцать лет я никак не могу собраться с духом это сказать...

— Что ты?

— Ничего... Швеция... Так ты, значит, едешь в Швецию?

— Да... и мне как-то немного стыдно. Ведь все это — разбомбленные дома, лохмотья, голод, все это дерьмо неотъемлемо от нашей жизни. Поэтому мне и стыдно. Я кажусь себе дрянью...

— Глупости... Ты создана для другой жизни, радуйся, что едешь в Швецию.

— Иногда я и радуюсь... Знаешь, есть досыта — это, наверное, очень здорово... И вокруг ни одного разбитого здания... Он пишет восторженные письма...

Вдруг загредел голос, объявивший по радио об отправлении поезда. Я испугался, но оказалось, что это еще не наш поезд. Голос сообщил, что отходит международный экспресс «Роттердам — Базель». И пока я неотрывно смотрел на маленькое нежное лицо Шарлотты, мне почему-то вдруг вспомнился запах хорошего мыла и кофе, и я почувствовал себя очень несчастным.

На мгновение мне показалось, что я способен с мужеством отчаяния выхватить из окна вагона это маленькое существо, не дать ей уехать. Она ведь принадлежит мне, я ведь ее люблю.

— Что ты?

— Ничего... Радуйся, что едешь в Швецию...

— Конечно... Он дьявольски энергичен, ты не находишь?.. Три года плена в России, побег, миллион приключений, и теперь он уже там занимается Рубенсом.

— Черт те что, в самом деле... Черт те что...

— Ты тоже должен чем-нибудь заняться. Хотя бы кончить университет.

— Заткнись!

— Что? — в ужасе переспросила она, смертельно побледнев. — Что?

— Прости, — прошептал я. — Это я сказал ноге, я с ней иногда разговариваю.

Она совершенно не походила на женщин Рубенса, скорее уж на пикассовских, и я всегда недоумевал, почему он так хочет на ней жениться. Она ведь даже некрасивая, и я ее люблю.

На перроне стало тише, толпа рассеялась, осталось только несколько провожающих. С минуты на минуту голос по радио объявит, что поезд отходит. Каждое мгновение могло оказаться последним...

— Ты должен чем-нибудь заняться, хоть чем-нибудь, так нельзя...

— Да, — согласился я.

Она была полной противоположностью женщин Рубенса — стройная, длинноногая, нервная, и ей было столько лет, сколько русской революции, сколько голоду и всему этому дерьму в Европе, сколько войне.

— Не верится... Швеция... Это как сон...

— Все это и есть сон.

— Ты думаешь?

— Конечно. Пятнадцать лет... Тридцать лет. Еще тридцать. Зачем добиваться диплома? Стоит ли? Заткнись, проклятая!

— Это ты опять ноге?

— Да.

— А что она говорит?

— Послушай.

Мы молчали и смотрели друг на друга, и улыбались, и сказали друг другу все, что хотели, не произнеся ни слова.

Потом она мне снова улыбнулась.

— Теперь ты понял... Хорошо, да?

— Да, да...

— В самом деле?

— Да... да...

— Видишь ли, — продолжала она тихо, — дело ведь не в том, чтобы быть вместе, и все. Дело ведь не в этом, правда?

Голос, который объявлял по радио об отправлении поездов, раздался теперь прямо надо мной, он звучал официально и сухо, и я вздрогнул, словно на меня замахнулся охранник здоровой двуххвостой плеткой.

— До свидания!

— До свидания!

Поезд плавно двинулся, медленно пошел вдоль перрона и, вырвавшись из-под застекленного свода вокзала, утонул в темноте.

СМЕРТЬ ЭЛЬЗЫ БАСКОЛЕЙТ

Подвал дома, где мы прежде жили, занимал лавочник, по фамилии Басколейт; в коридоре у него всегда стояли ящики из-под апельсинов и пахло гнилыми фруктами, которые он оставлял там для мусорщика, а сквозь дверь с матовым стеклом до нас доносился его зычный голос: на своем восточнопрусском говоре он клял тяжелые времена. Но в глубине души Басколейт был человеком веселым: мы знали, знали твердо, так твердо, как могут знать только дети, что его проклятья — это всего лишь игра, так же как и его переругивание с нами, и когда он подымался по ступенькам, ведущим из подвала на улицу, его карманы были набиты яблоками или апельсинами, которые он кидал нам, словно мячики.

Но нас Басколейт интересовал главным образом

из-за своей дочки Эльзы, которая хотела стать балериной. А быть может, она и была уже балериной: во всяком случае, она постоянно упражнялась в подвале, в комнате с желтыми стенами, рядом с кухней. Белокурая, тоненькая девочка в зеленом трико, очень бледная, — то она застывала на носках, то парила, словно лебедь, то кружилась и прыгала, то изгибалась. Из окна своей комнаты я мог наблюдать за ней, когда темнело: в желтом прямоугольнике оконного проема я видел ее обтянутое ядовито-зеленым трико худое тело и бледное напряженное лицо, обрамленное белокурыми волосами: иногда она задевала головой электрическую лампочку, болтавшуюся прямо на шнуре, без абажура, и тогда лампочка начинала раскачиваться, и от этого на какое-то мгновение расплывалось желтое пятно света на сером асфальте.

Всегда находились люди, которые кричали на весь двор: «Шлюха!», но я не знал, что это значит, а другие кричали: «Что за свинство!», и хотя я знал — во всяком случае, так мне казалось, — что такое свинство, я не мог поверить, что слово это имеет какое-то отношение к Эльзе. Тут уж окно распахивалось настежь, в облаке кухонного чада появлялась тяжелая лысая голова Басколейта, и вместе с новым потоком света в темный двор врвался поток бранных слов, из которых я ни одного не понимал. Но все же вскоре окно Эльзы завесили — завесили толстым зеленым бархатом, сквозь который едва пробивался свет, но я каждый вечер по-прежнему, не отрываясь, глядел на этот тускло мерцающий прямоугольник и, хотя уже не мог ничего увидеть, все же видел, как Эльза Басколейт в ядовито-зеленом трико — бледная, белокурая — то парила, то застывала под раскачивающейся лампочкой без абажура.

Но вскоре мы переехали на другую квартиру, я стал старше, узнал, что значит «шлюха», считал, что хорошо знаю, что такое свинство, повидел других балерин, но ни одна из них не нравилась мне так, как когда-то нравилась Эльза Басколейт, о которой я больше ничего не слышал. Потом мы перебрались в другой город, началась война, долгая война, и я боль-

ше не думал об Эльзе Басколейт. Не вспомнил я о ней и тогда, когда мы вернулись в родной город. Я пере-пробовал немало самых разных профессий, но ни на чем не мог остановиться, пока не поступил шофером к оптовому торговцу фруктами: водить грузовик было, собственно говоря, единственное, что я действительно умел делать. Каждое утро мне вручали маршрут-ный лист, ставили в кузов ящики с яблоками, апель-синами, грушами, корзины со сливами, и я ехал в го-род развозить товар.

Однажды, когда я стоял у склада и проверял по накладной, сколько чего грузят на мою машину, из конторы, обклеенной плакатами, призывающими есть бананы, вышел бухгалтер и спросил заведующего складом:

— Мы можем выполнить заказ Басколейта?

— А что он заказал?.. Синий виноград?

— Да, — подтвердил бухгалтер, удивленно по-смотрел на заведующего и даже вытащил карандаш, заткнутый за ухо.

— Время от времени, — объяснил заведующий, — он заказывает синий виноград, всегда только синий ви-ноград, уж не знаю зачем, но мы никогда не выпол-няем его заказов. Ну, поживей! — крикнул он грузчи-кам в серых халатах.

Бухгалтер вернулся в свою контору, а я... я пере-стал проверять, действительно ли они грузят в машину то, что значится в накладной. Я вновь видел ярко ос-вещенный прямоугольник подвального окна, видел, как танцует Эльза Басколейт в ядовито-зеленом три-ко, тоненькая, бледная, и в то утро я отклонился от предписанного мне маршрута.

Из наших уличных фонарей — тех, у которых мы играли, сохранился только один, да и он стоял без стекла, а большинство домов было разбито, и мой грузовик прыгал по рытвинам. На улице, когда-то на-полненной гомоном детских голосов, я увидел только одного ребенка: бледный темноволосый мальчуган понуро сидел на развалинах каменной стены и что-то рисовал пальцем в белесой пыли. Когда я проехал мимо, он поглядел мне вслед, но тут же снова опустил

глаза. Я затормозил у дома, где жили Басколейты, и вылез из машины. Витрина его лавочки была покрыта слоем пыли, выставленные в ней пирамиды из картонок завалились, а зеленоватая вывеска почернела от грязи. Я окинул взглядом стену дома, пестревшую свежештукатуренными выбоинами, нерешительно открыл дверь и спустился по ступенькам в лавку: меня обдал резкий запах отсыревших корней, которые прели в картонном ящике у дверей, а потом я увидел спину Басколейта, седые пряди, выбивающиеся у него из-под кепки, и почувствовал, как трудно ему наливать уксус из бочонка в бутылку покупательницы. Он явно никак не мог сладить с воронкой, кислая жидкость текла по его пальцам, и на полу тут же образовалась лужица, от половиц несло кисловатой гнилью, и они поскрипывали под тяжестью его шагов. У прилавка стояла худощавая женщина в буро-красном пальто и равнодушно следила за возней Басколейта. Наконец он все-таки ухитрился наполнить бутылку и заткнуть ее пробкой, и тогда я повторил еще раз то, что уже раз сказал, как только открыл дверь, я тихо сказал: «Доброе утро», но мне никто не ответил. Басколейт поставил бутылку на прилавок — я увидел его лицо, бледное, небритое, — и сказал, обращаясь к женщине:

— Моя дочь умерла, Эльза...

— Я знаю, — раздраженно сказала женщина, — знаю вот уже пять лет. Еще мне дайте песку для чистки посуды.

— Моя дочь умерла, — повторил Басколейт. Он вновь поглядел на женщину, словно сообщил ей новость, поглядел с беспомощным отчаянием, но она сказала:

— Килограмм развесного.

И Басколейт выдвинул из-под прилавка темную лохань, разрыхлил песок жестяным совком и принялся дрожащими руками накладывать желтоватые комочки в серый бумажный кулек.

— Моя дочь умерла, — сказал он.

Женщина промолчала, а я огляделся вокруг и ничего не обнаружил, кроме запыленных пакетов макарон, бочонка с уксусом, из крана которого медленно

падали крупные капли, лохани с песком и плаката, изображающего белобрысого улыбающегося мальчишку с куском шоколада, которого уже давным-давно нет. Женщина поставила бутылку в сетку, туда же сунула кулек с песком, кинула на прилавок несколько монет и направилась к двери; проходя мимо меня, она постучала себя пальцем по лбу, подмигнула мне и усмехнулась.

Я думал о многом — о том времени, когда был еще настолько мал, что только на цыпочках дотягивался до прилавка, а вот теперь я с легкостью гляжу поверх стеклянного ящика из-под конфет с броским названием кондитерской фирмы, но теперь в нем лежат только запыленные пакетики панировочных сухарей; и вдруг на какое-то мгновение мне почувствовалось, что я вновь стал маленьким, я почувствовал, как упираюсь носом в грязный край прилавка, ощутил в сжатом кулаке два пфеннига на конфеты, увидел, как танцует Эльза Басколейт, и услышал, как жильцы во дворе кричат: «Шлюха!» и «Что за свинство!» — как вдруг голос Басколейта вернул меня к действительности.

— Моя дочь умерла, — сказал он.

Он говорил это механически, почти без всякого чувства, стоя у витрины и глядя на улицу.

— Да, — сказал я.

— Она умерла, — сказал он.

— Да, — сказал я.

Он стоял ко мне спиной, засунув руки в карманы своего засаленного халата.

— Она любила виноград — синий виноград, но ее уже нет в живых.

Он не спросил меня: «Чего вы желаете?» или «Чем могу служить?», он стоял у витрины, около бочонка с капающим из крана уксусом, и все повторял, не глядя на меня: «Моя дочь умерла» или «Ее уже нет в живых».

Мне казалось, что я стою так бесконечно долго, потерянный и всеми забытый, а мимо меня бурно струилось время. Я смог вырваться, только когда в лавку вошла покупательница. Она была маленькая,

пухленькая, держала сумку перед собой, прикрывая живот, и Басколейт обернулся к ней и сказал:

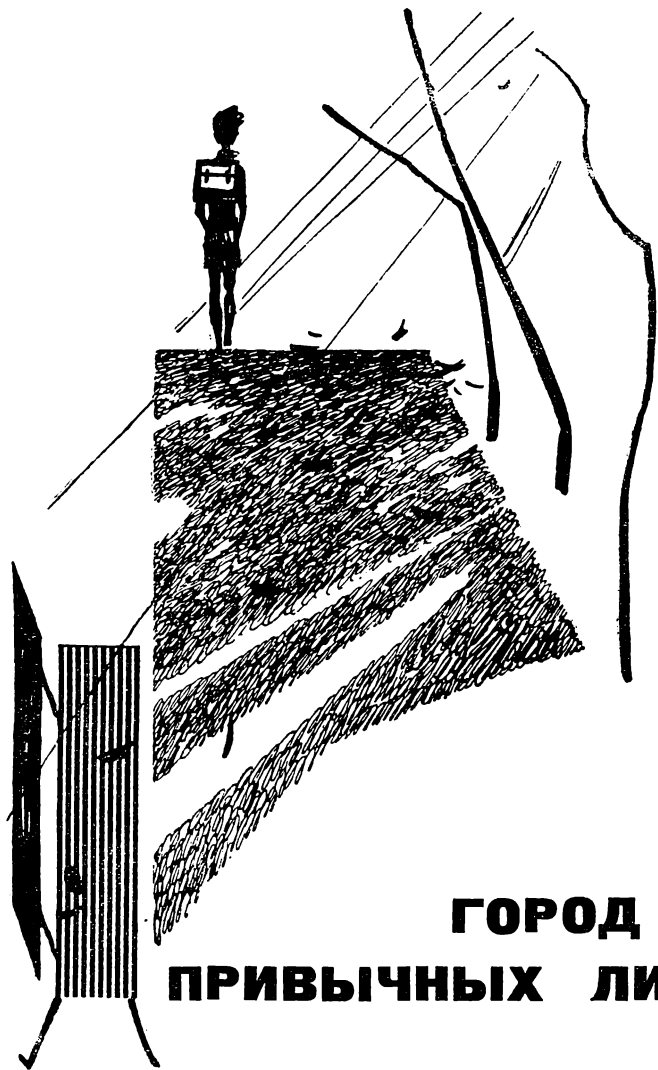
— Моя дочь умерла.

И женщина сказала:

— Да, — и вдруг начала плакать и проговорила сквозь слезы: — Пожалуйста, песку для чистки посуды. Развесного, килограмм.

Басколейт вновь зашел за прилавок и стал размельчать комья жестяным совком. Женщина все еще плакала, когда я вышел из лавки.

Бледный черноволосый мальчуган, который прежде сидел на разбитой ограде, стоял теперь на подножке моего грузовика и то внимательно разглядывал все внутри кабины, то вертел «дворники» на стеклах. Мальчишка испугался, вдруг обнаружив, что я стою за его спиной. Но я схватил его за плечи, заглянул в его бледное испуганное лицо, взял яблоко из ящика, стоящего в кузове, и сунул ему. Мальчуган изумленно на меня взглянул, когда я его отпустил, так изумленно, что мне стало страшно, и тогда я взял еще одно яблоко, и еще одно, и еще, и засунул их ему в карманы, за пазуху — много-много яблок, а потом сел в кабину и уехал.



**ГОРОД
ПРИВЫЧНЫХ ЛИЦ**

ГОРОД ПРИВЫЧНЫХ ЛИЦ



ельн для меня город привычных лиц, лиц людей, с которыми я никогда не был знаком и чьи имена не узнал бы на могильных плитах. Реальность этих лиц исчезнет, если они станут «господином Шмидтом» или «фрейлейн Рейнардс». Яркость их образов в моей памяти определена безымянностью. С некоторыми из них я, правда, обменивался словами, но никогда наша беседа не шла далее: «Конечная остановка. Благодарю вас» или «Два банана, пожалуйста. Спасибо», а с большинством я и слова не сказал, и именно поэтому они олицетворяют для меня Кельн.

И поныне я не знаю, чем занимается тот холеный господин, которого я помню еще брюнетом, потом видел с проседью в волосах, а потом и совсем седым, до сих пор я не знаю, кто он — судебный ли исполнитель или контролер электростанции. Он всегда держит под мышкой маленький черный портфель, в половину школьного ранца, не больше, — и я никогда не узнаю, лежат ли там исполнительные листы на опись имущества или счета электрокомпании, а может быть, вовсе гранки или копии заявлений, с которыми не расстаются люди, всю свою жизнь борющиеся с какой-то несправедливостью. Я встречаю этого господина то часто, то с интервалом в четыре-пять лет, в разное время дня, в разных районах города, вид у него всегда сосредоточенный, словно он устремлен к важной цели, и все же я опасюсь, что он ее никогда не достигнет. За двадцать пять лет я дважды видел его в кафе, оба раза он пил чай и ел коржик, который

тщательно ломал на кусочки. Всякий раз, как я его встречаю, я чувствую, что нахожусь в Кельне.

Мои родственники и знакомые куда меньше выражают для меня Кельн, чем эти безымянные привычные лица. У родственников, друзей и знакомых есть имена, знаешь, где они проводят отпуск, как зарабатывают деньги, какие книги читают, каковы их политические убеждения, и все же ими не определяется то, что называешь «у нас дома». Моя жена остается моей женой и в Эйфельдорфе, и мои дети остаются моими детьми даже, когда я сижу с ними в лондонском кино. Можно переехать в другое место и увезти с собой свою семью, друзья могут навестить вас, писать письма, там найдешь себе новых друзей, новых знакомых — фрейлейн Г., господина К. Все это приятно, но... «у нас дома» — это те безымянные, которых часто годами не видишь, но всегда сразу узнаешь. По их лицам я слежу за бегом времени лучше, чем по календарю и по лицам тех, кто стареет рядом со мной.

Эти привычные лица принадлежат вагоновожатым, уличным торговцам, газетчикам, полицейским и тем праздным дамам, которых с девяти до половины первого утра или от трех до шести вечера можно встретить в кафе. Это лица тех владельцев табачных лавочек, куда, может быть, зайдешь раз в три года, чтобы купить сигарет, как это бывает, когда шатаешься по городу; или тех часовщиков, которым раз в пять лет приносишь чинить часы. Кельнеры и кельнерши к их числу не относятся — они слишком много знают о тебе, и ты о них слишком много знаешь; они знают, какие газеты ты читаешь, что любишь есть и пить, с кем встречаешься. Все это становится известным уже после четырех-пяти посещений одного и того же ресторана; они делаютя чем-то вроде знакомых; вскоре ты узнаешь, в каких условиях они живут, какие отметки получают их дети в школе, обмениваешься с ними житейскими советами; нет, этого слишком много. С «привычными лицами» совсем не разговариваешь, а если и случается, то обе стороны обходятся строго ограниченным набором слов: «Конечная остановка», «Прямо и направо. Спасибо. Пожалуйста»,

«Два банана, пожалуйста». Едва ли больше слов, чем в ответах хора священнику во время церковной службы: «Услышь нас, господи», «Избавь нас, господи».

— Два банана, пожалуйста, — сказал я в 1929 году пятнадцатилетней девочке на маленькой площади перед собором св. Северина. Цветущая юность вчерашней школьницы! С какой беззаботностью рылась она в зеленой жестяной коробочке, набирая мне сдачи; ту же фразу, на том же месте я сказал ей в 1959 году. Пугающими выглядели шершавые морщинистые руки женщины средних лет, которая озабоченно глядела в ту же зеленую коробочку. Нигде я яснее не увижу, как это много — тридцать лет.

Мороженщик с Перленграбена записывал наши долги толстым циммермановским карандашом прямо на крашеной стенке своего киоска. Черточка обозначала пять пфеннигов, треугольник — грош, квадратик — пятнадцать пфеннигов. Когда кто-нибудь из нас погашал свой долг, мороженщик, послунявив большой палец, стирал соответствующую строчку геометрических фигур, а вскоре на новом месте исчерченной стены появлялся новый счет. Двадцать лет спустя: мороженщик за буфетной стойкой большого кафе, безупречный костюм, серый галстук, заколотый жемчужной булавкой, лоснящееся лицо над штабелями тортов и вафель и словно специально для меня, как финал этой сцены, прозвучали его слова, обращенные к буфетнице: «Я иду к маникюрше, скоро вернусь». Можно подумать, что у него никогда не было других забот, кроме как холить ногти; а ведь писал же он с озабоченным видом свою долговую геометрию на синей стенке киоска и после пасхальных каникул стирал строчки тех, кто ушел из школы или надул его. «Тиблер — три черты, два треугольника, один квадратик — пятьдесят пфеннигов полетели к чертям». И двадцать лет спустя тот же голос: «Я иду к маникюрше, скоро вернусь...»

Пожалуй, самым неуместным в таких случаях было бы пуститься в разговор о былых годах. Молчанием сбережешь чужие воспоминания, а стоит позволить

себе растворить их в сентиментальных словах, как они тотчас поблекнут.

— А помните, тогда, на Перленграбене, двадцать лет тому назад... Вы слюнявили палец... Бухгалтерия на голубой стенке киоска... Толпа ребятишек на том самом Перленграбене, который чуть ли не пятнадцать лет после войны все еще пугал своими помпейскими руинами.

Стоило только дать волю всем этим: «А помните...», и прошлое обесцветилось бы. Точно так же бережно надо относиться к прошлому городов и государств. Подобные ошибки всегда превращают встречи школьных товарищей, да и попойки однополчан в тоскливые сборища. В мимолетном воспоминании о движении руки, звуке, запахе больше содержанья, нежели в многочасовой хвастливой болтовне. Живая память о голосе, который прозвучал в переулке прохладным утром, в понеделник, в тот момент, когда мы шли в физкультурный зал: «Я... я убью тебя!..» Зеленый халат, копна черных волос, бледное, еще неумытое лицо; женщине было лет двадцать пять, она была красива, она еще хороша собой и в сорок семь лет — теперь она сидит за окошечком кассы в кино и говорит: «С вас марка восемьдесят, двадцать пфеннигов сдачи; с вас две марки пятьдесят, пятьдесят пфеннигов сдачи; в ложу билетов уже нет». А двадцать два года назад она крикнула всего одну-единственную фразу: «Я... я убью тебя!..»

Видеть и молчать, слышать и знать. Он нес красный флаг, нес его с вдохновенным лицом впереди шагающей колонны; по узким переулкам прокатывалось яростное эхо громких песен; Ойленгартен, Шнургассе, Анкерштрассе; безработные стояли вдоль тротуара, аккуратно гасили сигареты, недоверчиво глядели на демонстрантов. А он выкрикивал в серое ноябрьское небо: «Мы за Тельмана!» Рука аскета, крепко сжимающая древко флага, лицо аскета, запрокинутое к небу, и крик: «Мы за Тельмана!» Лицо чловека, который позавчера придирчивым взглядом педанта изучал мой паспорт, рука, которая протянула его мне из окошечка в банке вместе с отсчитанными

деньгами, была рукой праведника; я не забыл того, что он сам, быть может, давно забыл.

Я не мог бы сосчитать привычные лица, а тем более их перечислить. Некоторые исчезают, и я этого не замечаю, другие внезапно возникают: двадцатипятилетние, которые когда-то шести- или десятилетними детьми с ранцем за плечами или с хозяйственной сумкой в руках пробегали мимо окон одной из наших квартир, то ли на бульваре Каролингов, то ли на Матернуштрассе; теперь я их встречаю где-нибудь в парке или на улице, они гуляют, держа за руки своих шести- или десятилетних детей; привычные лица и еще непривычные, но которые со временем станут привычными.

Среди привычных лиц есть особо приметные — это газетчики, из уст которых я услышал всю историю последних десятилетий в броских заголовках: Брюннинг избран канцлером, фон Папен избран канцлером, Шлейхер избран канцлером, Гитлер избран канцлером; путч Рема провалился; победа на западе; стратегические отступления на Восточном фронте; первый массированный налет на Кельн; новые предписания военного министра; Аденауэр — сын нашего города, становится федеральным канцлером; напряжение в Бонне; примирение Аденауэра и Эрхарда.

Есть что-то бесчеловечное в этом всегда одинаково восторженном голосе, который с равным усердием рекламирует «Кельнише цейтунг» и «Фоссише цейтунг», «Штюрмер» и «Фелькишер беобахтер», «Дивельт» и «Абендпост», сообщающие о новой модной песенке, о запуске спутника и о посещении Хрущевым США. Какую газету это привычное лицо будет восхвалять через десять лет? Оно кажется мне бессмертным, почти что памятником, бросающим вызов времени, точно так же как и те праздные дамы из кафе, всегда *up to date** в вопросах моды и косметики, которые с трудом переходят от улыбки соблазнительной к материнской улыбке и все же вдруг признают себя в годах и принимаются просвещать подрастающее по-

* Современны (англ.).

коление; их стараниями дочери и дочери подруг обучаются высокому искусству праздности. Я ничего не знаю об этих дамах, не знаю, потеряли ли они сыновей или предали друзей, — они всего лишь привычные лица, а не друзья и не знакомые, на добрые и злые поступки которых мы горячо реагируем.

Все они вместе взятые и составляют для меня Кельн. Дома я чувствую себя там, где живет моя семья и где у меня есть знакомые, Кельн — это город, где мне знакомы еще и незнакомые, он лежит на берегу Рейна, в нем много церквей и мостов, все в нем дышит историей; римские легионеры заполнили свою страницу кирпичными сооружениями; средневековые зодчие воздвигли романские церкви, куда более кельнские, чем собор, который кажется в городе несколько чужим, да и построенным для чужих, — он стоит рядом с вокзалом, слишком близко от больших отелей, — чересчур легко вообразить, что знаешь Кельн, когда смотришь на собор из окна отеля; для меня Кельн расположен на Перленграбене и на площади св. Северина, это город незнакомых, которых я знаю.

ПО МОСТУ

В истории, которую я хочу вам рассказать, собственно говоря, нет никакого сюжета. Пожалуй, это даже и не история, но все равно я должен вам ее рассказать. Десять лет тому назад случилось то, что можно назвать ее началом, а на днях она завершилась.

Дело в том, что на днях мы проехали по тому мосту, который был когда-то широким и железным, как грудь Бисмарка у сотен памятников, и неизбежным, как боевой приказ. Большой четырехколейный мост через Рейн, покоившийся на каменных быках. В то время я трижды в неделю, по понедельникам, средам и субботам, проезжал по этому мосту всегда одним и тем же поездом. Служил я тогда во Всегерманском обществе охотничьего собаководства, где занимал весьма скромное место, был чем-то вроде курьера. В собаках я, конечно, ничего не понимал —

я ведь человек не шибко образованный. Итак, три раза в неделю я ездил из Кенигштадта, где находилось наше окружное управление, в Грюндерхейм, где был наш филиал, и привозил оттуда срочную почту, деньги и «Спорные дела». Эти «Спорные дела» лежали в объемистой желтой папке. Так я никогда и не узнал, что это, собственно, за «Спорные дела»: я был всего-навсего курьер...

В день поездки я утром шел из дома прямо на вокзал, восьмичасовым поездом отправлялся в Грюндерхейм и прибывал туда сорок пять минут спустя. Уже в то время я боялся ехать по мосту, несмотря на все объяснения о его запасе прочности и грузоподъемности, которые давали мне сведущие в инженерии знакомые. Просто-напросто я трусил. Само сочетание поезд — мост рождало во мне страх, я честно в этом признаюсь. Рейн в наших местах очень широк. С трепетом в сердце ощущал я всякий раз еле заметное покачивание моста, чувствовал, как зловеще дрожат все шестьсот метров железных ферм, и успокаивался лишь, когда снова слышал глухой перестук колес по рельсам, проложенным на внушающем доверие грунте. За окнами мелькали узкие клочки огородов, и, наконец, уже перед самой станцией Каленкаттен возникал дом, в который я тотчас впивался глазами. Дом этот стоял на твердой земле — еще издаля я с нетерпением его выглядывал; аккуратно оштукатуренные стены были выкрашены в красноватый цвет, а оконные переплеты и цоколь — в темно-коричневый. Дом был двухэтажный, наверху три окна, внизу два, и дверь посередине. К двери вела лестница в три ступеньки, и всегда, если не лил дождь, на ней сидела девочка лет девяти-десяти, тоненькая, как былиночка, с большой, очень чистой куклой в руках. Девочка сердито косилась на проходящий поезд. Я всегда сперва замечал девочку, а затем в поле моего зрения попадало окно, в котором виднелась устало склоненная женская фигура. Время от времени женщина окунала тряпку в стоящее рядом ведро, отжимала ее и снова принималась что-то усердно тереть. Она всегда мыла и скребла, даже в непогоду, ко-

гда хлестал ливень и девочка не сидела на ступеньках.

Всякий раз я видел одно и то же: длинную худую шею женщины и мелькающую в ее руках тряпку. Ну, конечно же, она мать девочки, тоже тощенькой и тонкошей! Много раз давал я себе зарок разглядеть через окно их мебель и занавески, но мой взгляд всегда застревал на этой худощавой согбенной фигуре, а когда я спохватывался, оказывалось, что состав уже проскочил мимо. Это повторялось по понедельникам, средам и субботам в восемь часов десять минут утра — ведь поезда тогда ходили очень точно. Мой вагон пролетал мимо домика, и какое-то мгновение я еще видел его заднюю стену с наглухо закрытыми окнами.

Я строил всевозможные догадки насчет этой женщины и этого дома. Все остальное на моем пути интереса для меня не представляло — ни Каленкаттен, ни Бредеркоттен, ни Суленхейм, ни Грюндерхейм. Мои мысли постоянно вертелись вокруг того дома: «Почему эта женщина трижды в неделю делает генеральную уборку?» — задавал я себе один и тот же вопрос. Судя по всему, дом этот был не из тех, где много грязнят, и не из тех, где бывает много гостей. Пожалуй, он выглядел даже неприветливо, хотя и был чистенький. Это был опрятный, но какой-то негостеприимный дом.

Когда же я одиннадцатичасовым ехал из Грюндерхейма назад и без чего-то двенадцать снова оказывался у красного домика, женщина как раз протирала стекла в правом окне задней стены. По понедельникам и субботам она в это время всегда протирала правое окно, а по средам — среднее. Она держала в руке суконку, и терла, и терла. Волосы ее были повязаны платком какого-то неопределенно бурого цвета. Девочку я на обратном пути никогда не видел. И вот всегда без чего-то двенадцать — ведь поезда в то время ходили немыслимо точно — окна фасада были наглухо закрыты.

И хотя я стремлюсь описать в этом рассказе только то, что видел собственными глазами, да будет

мне все же позволено заметить, что после двух-трех месяцев поездок в Грюндерхейм я сделал один скромный вывод, а именно: по вторникам, четвергам и пятницам женщина, очевидно, протирает остальные окна. Это предположение при всей своей неприятельности постепенно превратилось в навязчивую мысль, которая меня уже не покидала. Иногда я всю дорогу от Каленкаттена до Грюндерхейма ломал себе голову: когда же, до обеда или после, протирает она остальные окна? Однажды я сел и составил график уборки дома. Исходя из моих наблюдений по понедельникам, средам и субботам, я попытался восстановить весь недельный цикл. Я старался представить себе, чем она занимается в эти дни после обеда и что мочет в остальные дни. У меня возникла прямо-таки маниакальная идея, что эта женщина всю свою жизнь проводит в уборке дома. Я ведь никогда не видел ее в восемь часов десять минут утра иначе, чем склоненной над ведром, так устало, так усердно склоненной, что мне казалось даже, будто я слышу ее тяжкое дыхание, а за несколько минут до полудня так старательно протирающей суконкой стекла, что мне чуть ли не виделся между ее губами высунутый от рвения кончик языка...

История этого дома не давала мне покоя. Я стал задумчив, небрежен в работе. Да, в самом деле небрежен. Я слишком много размышлял. Однажды я даже забыл взять папку «Спорные дела», чем навлек на себя гнев начальника окружного управления. Он вызвал меня к себе, он дрожал от возмущения.

— Грабовски, — сказал он мне, — я слышал, вы забыли папку «Спорные дела». Служба превыше всего, Грабовски!

Так как я упорно молчал, начальник продолжал еще более строгим голосом:

— Курьер Грабовски, я вас предупреждаю: растяпам не место во Всегерманском обществе охотничьего собаководства. Мы можем обеспечить себя квалифицированными служащими...

Он грозно посмотрел на меня, но вдруг его взгляд смягчился.

— Может быть, у вас какие-нибудь личные неприязности?

Я тихо сказал:

— Да.

— Что случилось? — спросил он уже другим тоном.

В ответ я только покачал головой.

— Могу ли я вам помочь? Скажите — чем?

— Дайте мне один свободный день, господин начальник. Больше мне ничего не надо.

Он великодушно кивнул.

— И не принимайте этот разнос близко к сердцу. В конце концов забыть папку может каждый. А в остальном мы вами довольны...

Я ликовал. Сцена эта произошла в среду, и на завтра, в четверг, я был свободен.

Я решил проделать все очень толково и выехал восьмичасовым. Я дрожал скорее от нетерпения, нежели от страха, когда колеса вагона застучали по мосту. Женщина мыла ступеньки крыльца. Я вернулся из Каленкаттена с первым же поездом и около девяти проехал мимо красного домика; она трудилась на втором этаже, протирая среднее окно.

В этот день я четырежды ездил туда и обратно. Я досконально изучил всю ее программу на четверг: ступеньки крыльца, среднее окно фасада, среднее окно второго этажа задней стены, пол передней комнаты на втором этаже. Когда в шесть часов вечера я в последний раз проезжал мимо, я увидел, что в саду возится невысокий коренастый мужчина. Движения его были размеренны. Девочка с чистой куклой в руках наблюдала за ним. Женщины видно не было...

Все это происходило десять лет тому назад. И вот на днях мне пришлось снова проехать по тому мосту.

Господи, с какой же легкой душой сел я в поезд в Кенигштадте! Той истории я, конечно, уже не помнил. Мы ехали товарным, и, когда показался Рейн, произошло нечто странное: грохочущий поезд вдруг затих. Один за другим заглохли вагоны, просто удивительно, словно весь состав из двадцати — двадцати пяти теплушек был цепью электрических лампочек,

которые поочередно гасли. И в наступившей тишине слышался отвратительный, гулкий, как по пустому горшку, перестук... Мы замолкли, выглянули наружу и ничего не увидели. Ничего... Ничего... Справа и слева от нас зияла ужасающая пустота... Далеко вдоль берегов Рейна зеленели лужайки... А под нами — вода... пароходы... Глядеть было страшно — и глаза хитрили, смотрели в сторону. За стенками вагона ничего не было. Сидевшая напротив крестьянка побледнела как полотно; по ее молчаливой сосредоточенности я понял, что она молится. Дрожащими руками мужчины чиркали спички, чтобы закурить. Даже картежники в углу приумолкли...

Потом мы услышали, что передние вагоны опять загрохотали по твердой насыпи. И все подумали одно и то же: для тех, кто там, это уже позади. Если с нами что-нибудь случится, они, может быть, сумеют выпрыгнуть. Но мы ехали в самом хвосте, и в том, что мы сверзимся, не было никакого сомнения. Эта уверенность читалась в напряженности взглядов и бледности лиц. Мост был шириной в колею, собственно говоря, колея и была мостом, а боковые стенки вагонов нависали над пустотой. Мост зловеще раскачивался, словно хотел нас скинуть, обратить в ничто...

Но вот и наши колеса загрохотали. Привычный грохот стремительно примчался к нашему вагону и оказался у нас под ногами. Мы с облегчением вздохнули и, осмелев, покосились на дверной проем: там мелькали огороды, господи благослови эти огороды! И тут у меня екнуло сердце: я узнал это место. И пока мы приближались к Каленкаттену, меня мучила только одна мысль: стоит ли еще тот дом? И, наконец, я увидел его издали, сквозь нежно-зеленую дымку редкой весенней листвы деревьев, окаймлявших огород, — красноватый, по-прежнему аккуратный фасад летел мне навстречу.

Жуткое волнение охватило меня. Все, что было тогда, десять лет назад, и все, что произошло потом, всколыхнулось во мне и разрывало на части сердце. Дом надвигался с немыслимой быстротой. И вот я увидел ее, ту женщину. Она мыла крыльцо.

Нет, то была не она, из-под юбки белели полные молодые ноги, но движения, угловатые, резкие движения были те же. Сердце у меня перестало биться, оно замерло. Женщина только на миг повернулась лицом к поезду, и я тут же узнал в ней девочку с куклой, ее неприятное паучье лицо с прокисшим, словно вчерашний салат, брызгливым выражением.

Когда я снова стал ощущать биение своего сердца, я вспомнил, что нынче и в самом деле четверг.

БЕЛАЯ ВОРОНА

Мне явно предназначено судьбой позаботиться о том, чтобы белые вороны не перевелись и в нашем поколении. Ведь должен же кто-то быть белой вороной, и этот кто-то — я. Никто бы про меня такого не подумал, но тут уж ничего не поделаешь: я — белая ворона, и все. Мудрецы из нашей семьи утверждают, что это дядя Отто оказал на меня губительное влияние. Дядя Отто — белая ворона в их поколении и мой крестный отец. Ведь должен же был кто-то и тогда быть белой вороной, и этот кто-то был он. Конечно, дядя Отто стал моим крестным отцом задолго до того, как сбился с пути, точно так же как и я стал крестным отцом одного маленького мальчика, которого в страхе прячут от меня с тех пор, как все поняли, кто я такой. А ведь именно нам, таким, как дядя Отто и я, наши родственники должны быть благодарны, ибо семья без белых ворон какая-то пресная и лишенная характера.

Моя дружба с дядей Отто началась давным-давно. Он часто приходил к нам в гости и приносил разных сладостей куда больше, чем мой отец считал разумным, долго говорил о том, о сем и под конец всегда просил деньги в долг.

Дядя Отто знал все на свете; кажется, не было такой области, в которой бы он не разбирался: социология, литература, музыка, архитектура, короче говоря, что хотите... И в самом деле, он знал бездну всего, и знал досконально. Даже специалисты охотно

разговаривали с ним, находили его интересным, интеллигентным и на редкость обаятельным человеком до той самой минуты, пока шок от неизбежно завершающейся любую беседу попытки занять деньги не отрезвлял их, потому что это и было самым чудовищным: он свирепствовал не только среди родни, но расставлял свои коварные ловушки повсюду, где надеялся поживиться.

Все считали, что знания дяди Отто — это золотое дно (так они выражались в том поколении), — но он, видно, считал золотым дном нервы своих родственников. До сих пор осталось тайной, каким образом ему удавалось всякий раз вселить в собеседника уверенность, что именно в данном случае он этого не делает. Но он это делал. Неукоснительно. Неумолимо. Мне кажется, он просто не мог заставить себя упустить подходящий момент. Его речи бывали поистине вдохновенными, исполненными настоящей страсти, острого ума, тонкого юмора. Он беспощадно разил своих противников и возвеличивал друзей. Он так увлекательно говорил обо всем, что невольно думалось: нет, на этот раз он не обратится с... Но он обращался.

Он знал, как ухаживать за новорожденными, хотя никогда не имел детей. Занимал дам невероятно захватывающими разговорами о различных методах вскармливания, рекомендовал тот или иной сорт присыпки, тут же писал на бумажках рецепты мазей и притирок, советовал, как и чем поить младенцев, более того, он даже знал, как их укачивать: любой орущий малыш немедленно затихал у него на руках. От него словно исходил какой-то магнетизм.

С таким же знанием дела он анализировал Девятую симфонию Бетховена или составлял любые юридические документы, по памяти ссылаясь на соответствующие законы.

Но где бы и о чем бы ни вел он речь, к концу беседы, когда настаивал момент прощания, чаще всего в передней, а иногда даже стоя уже на лестничной площадке, он просовывал свою бледную физиономию с живыми черными глазами в щель еще не успевшей

захлопнуться двери и говорил как бы между прочим, обращаясь к главе семьи и словно не замечая ужаса, сковавшего всех ее членов:

— Да, кстати, не мог бы ты мне...

Сумма, которую он просил, всегда колебалась между одной и пятьюдесятью марками. Пятьдесят марок были его пределом — с годами как бы установился некий неписанный закон, согласно которому он не мог претендовать на большее.

— ...На короткий срок! — добавлял он.

«На короткий срок» — было его любимым выражением. Изложив свою просьбу, он обычно возвращался назад, снова клал шляпу на подзеркальник, разматывал шарф и принимался пространно объяснять, на что ему нужны деньги. Он всегда носился с каким-нибудь блистательным проектом. Эти деньги он отнюдь не собирался тратить на личные нужды, а лишь на то, чтобы заложить солидный фундамент своему существованию. У него были самые разнообразные планы, начиная с покупки киоска для продажи лимонада стаканами — дело, которое, по его расчетам, должно было обеспечить ему постоянный солидный доход, — до учреждения новой политической партии в целях спасения Европы от грядущей гибели.

Фраза «Да, кстати, не мог бы ты мне...» стала жупелом в нашей семье, где жены, тетки, двоюродные тетки и даже племянники при словах «На короткий срок!» едва не падали в обморок.

А дядя Отто — я полагаю, он бывал абсолютно счастлив, когда сбегал вниз по лестнице, — направлялся в ближайшую пивную еще раз тщательно обдумать свой проект. Чтобы лучше думать, он заказывал водки или три бутылки вина, в зависимости от того, какую сумму ему удалось на этот раз выколотить.

Я не хочу далее скрывать, что дядя Отто пил. Да, он пил, хотя никто никогда не видел его пьяным. Кроме того, у него явно была потребность пить в одиночку. Попытка напоить его, чтобы тем самым предотвратить его обычную просьбу, была обречена на неудачу. Целая бочка вина не удержала бы его от того, чтобы, уходя, в самую последнюю минуту не

просунуть голову в щель готовой вот-вот захлопнуться двери и не спросить:

— Да, кстати, не мог бы ты мне?.. На короткий срок...

Но я еще умолчал о его самом ужасном свойстве. Иногда он возвращал деньги. Время от времени дядя Отто, видимо, немного подрабатывал. Советник юстиции в прошлом, он, мне кажется, давал от случая к случаю какие-то юридические консультации. Получив деньги, он приходил к своему кредитору, вынимал из кармана смятую купюру, любовно, с тоской ее разглаживал и говорил:

— Ты был так добр, что выручил меня. Вот тебе твоя пятерка.

Вернув деньги, он тут же уходил и снова появлялся в этом доме не позже чем через два дня и просил займы сумму всегда чуть больше той, которую вернул. Тайной осталось и то, как ему удалось дожить почти до шестидесяти лет, так и не обзаведясь тем, что мы привыкли называть настоящей профессией, и он умер вовсе не от болезни, которую он, казалось, мог бы себе нажить от пьянства. Он был здоров как бык, сердце его работало безотказно, спал он, как младенец, который, вдоволь насосавшись молока, безмятежно посапывает, ожидая следующего кормления. Нет, он умер внезапно. Несчастный случай оборвал его дни, и то, что произошло после его смерти, объяснить, пожалуй, еще труднее, чем странности его жизни.

Итак, как уже было сказано, дядя Отто погиб от несчастного случая. Он попал под грузовик с тремя прицепами прямо в центре города, и еще счастье, что к бедняге первым подбежал честный человек; он тотчас вызвал полицию и известил семью. В кармане дяди Отто был обнаружен кошелек, в котором находился медальон с изображением девы Марии, проездной билет, наличные деньги в сумме двадцати четырех тысяч марок и копия расписки, данной им хозяину лотереи в получении выигрыша. Этим капиталом дядя Отто владел, должно быть, минуту, а мо-

жет, и того меньше, потому что грузовик налетел на него метрах в пятидесяти от дверей лотереи.

Последующие события были для нашей семьи постыдными. Комната дяди Отто поражала бедностью: стол, стул, кровать, шкаф, несколько книг и большая записная книжка — в этой книжке были с поразительной тщательностью перечислены все его долги, в том числе и долг, сделанный накануне трагического случая, долг, принесший ему четыре марки наличными. Кроме того, в записной книжке было короткое завещание, в котором он отказывал мне все, что имел.

Мой отец, как душеприказчик покойного, должен был заняться выплатой долгов. Список кредиторов дяди Отто заполнял почти все страницы записной книжки, причем первые фамилии туда были занесены еще в те далекие времена, когда он вдруг бросил работу в суде и посвятил себя обдумыванию всевозможных проектов, на что ушло так много лет и так много денег. Долги дяди Отто составляли почти пятнадцать тысяч марок, а число кредиторов — более семисот человек, начиная от кондуктора трамвая, одолжившего ему тридцать пфеннигов на билет, и кончая моим отцом, которому он задолжал за эти годы две тысячи марок, — видимо, у моего отца дяде Отто было легче всего брать займы деньги.

Станным образом день похорон дяди совпал с днем моего совершеннолетия, и тем самым я получил право распоряжаться оставшейся после раздачи долгов суммой — около десяти тысяч марок, — в силу чего немедленно прервал только что начавшуюся учебу в университете, решив посвятить себя иным делам. Несмотря на горькие слезы моих родителей, я бросил дом и переехал в комнату дяди Отто — меня туда влекло неудержимо, и я до сих пор там живу, хотя с той поры прошло много лет и волосы мои сильно поредели. Обстановка в комнате ничуть не изменилась — ничто в ней не убавилось и не прибавилось. Теперь я понял, что многие мои начинания были ошибочными. Так, например, было бессмысленно пытаться стать музыкантом, а тем более композитором — у меня нет настоящего таланта. Теперь-то

я это знаю, но за это знание я заплатил тремя годами отчаянного труда, приобрел репутацию бездельника да к тому же и просадил все свое наследство. А с тех пор прошло так много времени...

Я уже не помню точно последовательности всех моих начинаний — столько их было. К тому же срок, необходимый для того, чтобы понять всю их бессмысленность, становился все короче. Дело дошло до того, что каждый новый план жил не более трех дней, а это слишком мало даже для плана. Жизнеспособность моих проектов убывала с такой стремительностью, что в конце концов они превратились в смутно мелькавшие мысли, о которых я не мог даже никому рассказать, потому что мне самому они были неясны! Подумать только, ведь было время, когда я три месяца кряду занимался физиогномикой, а потом дошел до того, что в течение одного вечера решал стать художником, садовником, механиком и матросом, засыпал, твердо убежденный, что рожден быть учителем, а просыпался с незыблемой верой в то, что работа таможенного инспектора мое единственное призвание.

Короче говоря, я не обладаю ни любезностью дяди Отто, ни его более или менее выдержанным характером, да и язык у меня не так хорошо подвешен. В гостях я обычно сижу как сыч и молчу, только скуку навожу на хозяев, а свою просьбу одолжить денег выпаливаю так неуклюже, что она звучит вымогательством.

Обходиться я умею только с детьми — это, пожалуй, единственное положительное качество, которое я унаследовал от дяди Отто. Попав ко мне на руки, младенцы немедленно замолкают и, глядя мне в лицо, начинают улыбаться, если только они уже умеют улыбаться, хотя люди говорят, что я настоящее пугало. Те, кто поехидней, советуют мне наняться в детский сад... воспитателем и тем самым покончить с моим бесконечным прожектерством, но я не иду в детский сад. Мне кажется, именно в этом и заключается то, что отличает нас, белых ворон: мы не умеем обращаться в золото свое истинное призва-

ние или, как принято теперь говорить, практически его использовать.

Во всяком случае, одно мне ясно: если я и в самом деле белая ворона — а я лично в этом еще вполне уверен, — так вот, повторяю, если я — белая ворона, то представляю собой все же несколько иную разновидность, чем дядя Отто. Я не обладаю ни его легкостью, ни его обаянием, кроме того, меня угнетают мои долги, тогда как его они явно нисколько не тяготили. И я сделал нечто совершенно ужасное — я капитулировал, я попросил найти мне какую-нибудь работу. Я умолял родственников помочь мне пристроиться на место, умолял пустить в ход все их связи, чтобы хоть раз, хотя бы один разок получить за определенную работу определенную сумму. И им это удалось. После того как я изложил им свою просьбу, после того как я письменно и устно молил их, заклинал, торопил, я был в ужасе при мысли, что эту просьбу примут всерьез и, не дай бог, осуществят, однако же я сделал то, чего до меня еще никто из белых ворон не делал: я не отступил, не обманул родственников и нанялся на то место, которое они для меня подыскивали. Я пожертвовал тем, чем я никогда не должен был жертвовать, — своей свободой.

Каждый вечер, когда я, мрачный, плелся домой, я злился, что прошел еще день моей жизни, не принесший мне ничего, кроме усталости, раздражения и тех жалких грошей, которые необходимы, чтобы суметь завтра снова выйти на работу. Да и можно ли было вообще назвать мою деятельность работой? Я раскладывал счета по алфавиту, пробивал в них дырочки и в идеальном порядке подшивал в папки, где они терпеливо лежали, тщетно дожидаясь оплаты; либо я писал письма с призывом покупать наши изделия, которые потом бессмысленно блуждали по стране и лишь отягощали сумки почтальонов; иногда я писал какие-то счета, и некоторые, представьте, кто-то даже оплачивал наличными. В мои обязанности входило также вести дела с торговыми агентами, тщетно пытавшимися всучить кому-нибудь ту дрянь, которую им поставлял наш хозяин. Наш хозяин — эта

неутомимая скотина, ничего не делающая и вечно спешащая, — тратит на чепуху все бесценное дневное время. Существование его лишено всяческого смысла, и он не решается даже подсчитать сумму своих долгов. С трудом балансируя, идет он от блефа к блефу. Он — акробат с воздушными шариками. Едва лопается один, как он начинает надувать другой, а в руке у него остается отвратительный резиновый лоскут, который всего лишь секунду назад был полон жизни, блеска, великолепия. Наша контора находилась при маленькой фабричке, где человек двенадцать рабочих изготовляли ту самую мебель, которую покупают для того, чтобы потом всю жизнь огорчаться, если не хватает решимости выкинуть ее вон в течение первых трех дней; тумбочки, курительные столики, крохотные комодики, искусно разрисованные маленькие стульчики, рассыпающиеся под трехлетними детьми, этажерочки, жардиньерочки и тому подобный хлам, который издали кажется созданием искусного резчика, а в действительности является поделкой дрянного маляра, краской и лаком придающего этим изделиям богатый вид только для того, чтобы оправдать высокую цену.

Итак, я проводил день за днем — всего их оказалось почти четырнадцать — в конторе этого неинтеллигентного человека, который сам себя принимал всерьез, да еще считал себя художником, потому что время от времени — за мое пребывание в конторе это случилось всего один раз — он становился за чертежный стол и, орудуя карандашом и рейсшиной, проектировал одно из тех шатких сооружений — подставку для вазы или новый тип домашнего бара — которые словно специально предназначены для того, чтобы приводить в ярость грядущие поколения.

Он не отдавал себе отчета в абсолютной бессмысленности своих конструкций. Набросав на листе бумаги очередной шедевр — как я уже говорил, на моей памяти это произошло всего лишь один раз, — он укатывал на своей машине, дабы отдохнуть от напряженных творческих трудов, причем этот отдых затягивался на неделю, если не больше, хотя сама

работа отнимала минут пятнадцать. А набросок тем временем передавался мастеру, который, положив его на свой верстак, долго изучал, наморщив лоб, потом изготовлял образец и налаживал массовый выпуск нового изделия.

Изо дня в день я наблюдал, как за пыльными окнами мастерской — хозяин всегда величал ее фабрикой — громоздились его новые творения: подвесные полки да столики для телевизоров, вряд ли стоившие того клея, который был на них затрачен.

Действительно нужные предметы изготовлялись в мастерской только в отсутствие хозяина, когда рабочие твердо знали, что он исчез на несколько дней: подножные скамеечки и ящики для рукоделья, радующие своей добротностью и простотой; когда-нибудь внуки будут скакать верхом на этих скамеечках и прятать свои сокровища в ящики для рукоделья, а на сушильных козлах будут трепыхаться на ветру рубашки еще не одного поколения.

За время этой интермедии под названием «Моя производственная деятельность» единственной личностью, в самом деле мне импонировавшей, был трамвайный кондуктор, который своими щипчиками с печаткой внутри погашал день моей жизни. Он брал маленький клочок бумаги — мой недельный проездной билет, вкладывал его в разверстную пасть щипчиков и невидимо сочащейся краской перечеркивал клеточку в квадратный сантиметр — день моей жизни, драгоценный день жизни, не принесший мне ничего, кроме усталости, озлобления и жалких грошей, необходимых для того, чтобы и дальше заниматься моей бессмысленной работой. Этот человек в простой форме трамвайщика обладал неумолимой властью судьбы — он каждый вечер признавал недействительными тысячи человеческих дней.

Еще и сегодня я злюсь на себя за то, что сам не объявил хозяину об уходе, прежде чем, можно сказать, был вынужден это сделать, что не швырнул ему в лицо все его причиндалы, прежде чем, можно сказать, был вынужден их швырнуть, ибо в один прекрасный день моя квартирная хозяйка привела

в контору мрачного, не глядящего в глаза человека, который представился уполномоченным лотереи и объявил мне, что ежели я действительно такой-то и такой-то и у меня находится лотерейный билет номер такой-то, то я отныне являюсь обладателем состояния в пятьдесят тысяч марок. А поскольку такой-то и такой-то действительно был я и билет номер такой-то находился у меня, то я, даже не предупредив об уходе, тотчас же бросил работу и взял на свою совесть не разложенные по алфавиту и не подшитые счета; у меня не было иного выхода, как отправиться домой, получить выигрыш и с помощью денежных переводов известить родственников о своем новом материальном положении.

Все теперь наверняка ожидают, что я скоро умру или стану жертвой несчастного случая. Но как будто ни одна машина не покушается на мою жизнь, да и сердце мое работает исправно, хотя и я не пренебрегаю бутылочкой. Теперь, после уплаты всех долгов, я обладаю состоянием в тридцать тысяч марок, не облагающимся налогами, и в силу этого стал весьма уважаемым дядей, который вдруг опять получил доступ к своему крестнику. Ведь дети меня вообще-то любят, и вот мне опять разрешили играть с ними, покупать им мячи, угощать их мороженым, даже мороженым со сбитыми сливками, одаривать их целыми гроздьями воздушных шариков и таскать веселую гурьбу ребят по качелям и каруселям.

Моя сестра тут же купила своему сыну, моему крестнику, лотерейный билет, а я тем временем углубился в размышления и все ломаю себе голову над тем, кто же в подрастающем поколении пойдет по моим стопам, кто из этих цветущих, веселых, красивых детишек, которых произвели на свет божий мои братья и сестры, станет белой вороной, ибо наша семья отнюдь не пресная и вовсе не лишена характера. Кто из этих малышей будет примерным только до той поры, когда он вдруг перестанет быть примерным, кто из них ни с того ни с сего решит посвятить себя осуществлению своих собственных планов, самых прекрасных и неотвратимо влекущих? Я хо-

тел бы знать, кто из них будет таким, я хотел бы предупредить его об опасностях, таящихся на его пути, потому что и у нас, белых ворон, есть свой опыт и свои правила игры, которые я мог бы передать моему последователю, пока еще мне неизвестному, пока еще резвящемся, словно лебеденок в стае утят, со всеми остальными.

Однако у меня есть смутное предчувствие, что я не проживу достаточно долго, чтобы его узнать и раскрыть ему свои тайны. Он объявится вдруг, выпорхнет, словно бабочка из кокона, когда я умру и когда кто-то срочно должен будет занять мое место. Он с пылающим лицом заявит к своим родителям и крикнет им, что не желает больше жить такой жизнью, что сыт ею по горло, и я втайне надеюсь, что к тому времени еще останется немного моих денег, потому что я изменил свое завещание и отдал все тому, кто первым обнаружит явные «беловороньи» признаки и докажет свое намерение идти моей дорогой... Главное, чтобы он ничего им не остался должен.

ДАНИЭЛЬ СПРАВЕДЛИВЫЙ

Было еще темно, и женщина, лежавшая рядом, не видела его лица, поэтому вынести все это было легче. Она уже больше часа говорила, не замолкая, и ему не стоило никакого труда время от времени вставлять «да», или «да, конечно», или «ты совершенно права». Женщина, лежавшая рядом с ним, была его жена, но когда он думал о ней, он мысленно всегда называл ее «женщина». Она была даже красивая, и многие мужчины заглядывались на нее. Будь он ревнивцем, он мог бы ее ревновать, но он не ревновал. Он радовался темноте, которая скрывала от него ее лицо и позволяла ему ничего не изображать на своем. До чего утомительна день-деньской, до темноты, ходить с чужим выражением лица, быть на людях словно в маске!

— Если Ули провалится, — говорила она, — это

будет просто катастрофа. Мари этого не переживет. Ты же знаешь, сколько ей пришлось выстрадать, верно?

— Да, конечно, — сказал он.

— Она сидела на одних сухарях, она... я просто не представляю себе, как все это можно вытерпеть... Неделями спать без простыней!.. К тому же, когда родился Ули, Эрик считался пропавшим без вести... Не знаю, что будет, если мальчик провалится на эк-замене. Разве я не права?

— Ты совершенно права, — сказал он.

— Ты непременно должен повидать мальчика перед тем, как он войдет в класс, и как-нибудь ободрить его. Ты ведь сделаешь, что сможешь, правда?

— Да, — сказал он.

Таким же вот весенним днем тридцать лет назад он сам приехал в город, чтобы держать вступительный экзамен в гимназию; вечером пылающий закат багровым отсветом залил улицу, где жила его тетка, и ему, одиннадцатилетнему мальчишке, казалось, будто кто-то рассыпал по крышам домов жар из печки и вместо стекол вставил в рамы сверкающие листы раскаленного металла.

Потом, когда они сели ужинать, окна как бы подернулись зеленоватой ряской сумерек, но это длилось недолго, полчаса, не больше, те самые полчаса, когда женщины никак не могут решиться зажечь электричество. Тетка тоже долго не решалась, а когда она, наконец, повернула выключатель, из сотен домов, словно отвечая ее сигналу, хлынул на улицу, разрывая зеленоватую тьму, ослепительный желтый свет. Электрические лампочки, похожие на диковинные твердые плоды с острыми шипами, раскачивались в темноте.

— Ты не провалишься? — спросила тетка, а дядя, сидевший с газетой в руках у окна, недовольно покачал головой, видимо сочтя этот вопрос оскорбительным.

Потом тетка постелила ему в кухне на скамье. Вместо матраца положила стеганое одеяло. Дядя отдал ему свою перину, тетка — подушку.

— Ничего, скоро у тебя здесь будет своя постель, — сказала тетка. — А теперь спи. Спокойной ночи.

— Спокойной ночи, — сказал он. Тетка погасила свет и ушла в спальню.

Дядя задержался в кухне, делая вид, будто ищет что-то в темноте. Пальцы его словно невзначай коснулись лица мальчика и тут же двинулись дальше, к подоконнику, а потом эти пальцы, пахнущие квасцами и шеллаком, вернулись назад и снова скользнули по его лбу и щекам. В кухне свинцом повисла его робость, и он скрылся в спальне, так и не сумев сказать того, что хотел.

«Нет, я не провалюсь», — подумал мальчик, когда остался один. Он представил себе мать, как она сидит сейчас дома у печки, вяжет, и время от времени роняет на колени руки, и шепчет молитвы, обращаясь к одному из тех святых, которых особенно чтит, — наверно, к Иуде Фаддею*, хотя, быть может, он, крестьянский мальчонка, поехавший в город, чтобы поступить в гимназию, находится под опекой блаженного Боско**

— ...Есть вещи, которых просто нельзя допустить, — продолжала женщина, лежавшая рядом с ним, и так как она явно ждала ответа, он устало сказал: «Да, конечно», и с отчаянием в сердце заметил, что начало светать: неумолимо надвигался день, неся с собой самую трудную из всех его обязанностей: обязанность ходить в маске.

«Нет, — думал он, — часто, слишком часто происходят вещи, которых нельзя допустить».

Тогда, тридцать лет назад, лежа на скамье в тем-

* Иуда Фаддей — один из двенадцати апостолов.

** Боско — итальянский священник, канонизированный католической церковью, основатель Ордена Салезианцев.

ной кухне, он был полон надежд: он думал об арифметической задаче, которую завтра решит, о сочинении, которое напишет, и был уверен, что не провалится. Сочинение, наверное, дадут на тему: «Интересный случай из твоей жизни», и он точно знал, о чем будет писать: о посещении того дома, где находится дядя Томас: полосатые, зеленые с белым, стулья в приемной, и дядя Томас, который на все, что бы ему ни сказали, отвечает всегда одной и той же фразой: «Если бы в этом мире царил справедливость».

— Я связала тебе красивый красный свитер, — сказала мать дяде Томасу, — ты всегда любил красный цвет.

— Если бы в этом мире царил справедливость.

Они говорили о погоде, о коровах, немножко о политике, а дядя Томас все твердил одну и ту же фразу: «Если бы в этом мире царил справедливость».

Когда они уже собрались домой, он увидел в вестибюле с зелеными стенами узкогрудого человека со странно опущенными плечами, который стоял у окна и смотрел в сад.

Почти у самой калитки им повстречался приветливый господин и сказал матери с любезной улыбкой:

— Сударыня, прошу вас, не забывайте, что ко мне следует обращаться «ваше величество».

И мать тихо сказала ему:

— Ваше величество.

А потом, на трамвайной остановке, он еще раз поглядел на зеленый особняк, притаившийся за деревьями, и снова увидел стоящего у окна человека с опущенными плечами, и до него донесся странный смех — будто резали жест тупыми ножницами.

— Кофе остынет, — сказала женщина, которая была его женой. — И съешь хоть что-нибудь, прошу тебя.

Он отхлебнул кофе и что-то съел.

— Знаю, — сказала женщина и положила ему руку на плечо, — знаю, тебя опять терзают твои веч-

ные сомнения — справедливо ли будет так поступить, но сам подумай, что может быть несправедливого в желании помочь ребенку? Ведь Ули тебе нравится.

— Да, — ответил он, и это «да» было искренним. Ули ему нравился: хрупкий, приветливый мальчик, по своему не глупый, но учиться в гимназии было бы для него мукой. Даже занимаясь с репетитором, он, несмотря на подстегивание честолюбивой матери и покровительство директора, все равно никогда, как ни старайся, не сможет подняться над посредственностью. Жизнь будет ему всегда в тягость, ибо карьера, которую ему выбирают, явно не по нем.

— Ты обещаешь помочь Ули, да?

— Да, — ответил он, — я помогу ему.

Он поцеловал в щеку свою красивую жену и отправился в гимназию. Шел он медленно, зажав в губах сигарету, — он сбросил маску и наслаждался покоем, чувствуя, что лицо больше не сквано чужим выражением. Он остановился перед витриной мехового магазина, чтобы посмотреть на себя. Между серыми тюленьими и полосатыми тигровыми шкурами, на фоне черного бархата, которым была задрапирована витрина, он увидел свое отражение — бледное, слегка одутловатое лицо человека за сорок, лицо скептика, быть может, даже циника, а вокруг этого бледного, одутловатого лица белесым облачком вился дымок сигареты. Альфред, его друг, умерший год назад, все говорил ему: «Ты никогда не мог справиться с тем, что я бы назвал *ressentiment**, да и все, что ты делаешь, слишком уж подвластно эмоциям». Альфред не имел в виду ничего плохого, напротив, он думал, что нашел точное слово, но разве можно одним словом определить человека, а *ressentiment* к тому же одно из самых дешевых, самых удобных слов.

Тогда, тридцать лет назад, лежа на скамье в тетеной кухне, он думал: «Такого сочинения, как я, никто не напишет; ни у одного из мальчиков навер-

* Злопамятность (ф р а н ц.).

няка в жизни не было такого интересного случая». А перед тем как заснуть, он думал еще и о другом: на этой скамье ему теперь спать девять лет, а за этим столом — учить уроки целых девять лет, и всю эту вечность его мать дома, в деревне, будет сидеть у печки, вязать и шептать молитвы. Он слышал, как в соседней комнате разговаривают дядя и тетка, но уловить смог только одно слово — свое имя: Даниэль. Значит, они говорили о нем, и хотя он не слышал, что они говорят, знал, что говорят только хорошее. Они любили его, своих детей у них не было. И вдруг его охватил страх. «Через два года, — подумал он в смятенье, — скамья эта станет для меня слишком короткой. Где же я тогда буду спать?» Несколько минут эта мысль терзала его, но потом он успокоился: «Два года — это так бесконечно долго... Впереди столько времени... Столько неизвестного, которое будет проясняться с каждым днем...» И он вдруг погрузился в то неизвестное, которое подступило вплотную в ночь перед экзаменом, а во сне его преследовала картина, висевшая на стене, между буфетом и окном: мужчины с суровыми лицами толпятся у заводских ворот, у одного из них в руке рваное красное знамя. Во сне мальчик легко прочел надпись, которую лишь с трудом разобрал бы наяву, в полутьме, царившей в комнате: «ЗАБАСТОВКА».

Он оторвал взгляд от своего бледного лица, которое навязчиво мерцая, словно его нарисовали серебром на черном полотне, висело где-то между серыми тюленьими и полосатыми тигровыми шкурами; оторвал с трудом, нерешительно, потому что видел за этим лицом того мальчика, которым когда-то был.

— Забастовка, — сказал ему тринадцать лет спустя школьный инспектор. — Неужели вы считаете, что забастовка — это подходящая тема для сочинения в старших классах?

Он не дал в старших классах этой темы для сочинения, да и картина уже тогда, в 1934 году, давным-

давно не висела в теткиной кухне. Правда, еще можно было навестить в больнице дядю Томаса, посидеть там на полосатом стуле, выкурить сигару и послушать, как он твердит одну фразу, будто отвечает на жалобы, которых никто, кроме него, не слышит. Томас сидел, весь обратившись в слух, но он не слышал того, что ему говорил посетитель, — он слышал только причитания невидимого хора, скрытого в кулисах мироздания, хора, исполнявшего печальный псалом, на который мог быть только один ответ, ответ Томаса: «Если бы в этом мире царила справедливость».

Тот человек с опущенными плечами, который всегда стоял у окна и глядел в сад, так исхудал, что в один прекрасный день пролез между прутьями оконной решетки и бросился вниз: его жестяной смех в последний раз огласил сад и навеки замер. Но «его величество» все еще был жив, и Хемке никогда не упускал случая подойти к нему и с улыбкой шепнуть: «Ваше величество».

— Такие вот живут до ста лет, — объяснил санитар. — Черт их не берет.

Однако семь лет спустя «его величества» не стало, и дяди Томаса тоже уже не было в живых, их умертвили, и хор, скрытый в кулисах мироздания, хор, исполнявший свой печальный псалом, тщетно ожидает ответа, который мог дать только Томас.

Хемке свернул на улицу, где находилась школа, и испугался, увидев, как много детей пришло сдавать вступительный экзамен: они стояли группками вместе с родителями, и все были охвачены тем фальшивым и нервным оживлением, которое, как болезнь, обычно нападает на человека перед экзаменом; это оживление, словно румяна, прикрывало отчаянное волнение на лицах матерей и равнодушные, такое же фальшивое, — на лицах отцов.

Но его внимание привлек мальчик, который сидел один, в стороне от всех, на ступеньке разрушенного дома. Хемке остановился и почувствовал, что страх

пропитывает его, как вода губку. «Осторожно! — подумал он. — Если я дам себе волю, то в один прекрасный день тоже окажусь там, где был дядя Томас, и, быть может, буду твердить его же фразу». Мальчик, сидевший на ступеньке, был настолько похож на него самого, каким он сохранил себя в памяти, что ему показалось, будто эти тридцать лет слетели с него, как пыль со статуи.

Шум, смех; солнце играло на влажных крышах, с которых уже стаял снег, — он лежал еще только в развалинах, где всегда была тень.

Тогда, тридцать лет тому назад, дядя привез его сюда слишком рано. Они сели в трамвай, проехали по мосту и за весь путь не произнесли ни слова.

«Робость, — думал Хемке, глядя на черные чулки мальчишки. — Это болезнь вроде коклюша, и ее тоже надо было бы лечить».

Робость дяди и его собственная робость сковали его настолько, что он едва дышал; с красным шарфом, обмотанным вокруг шеи, с бутылкой кофе, торчащей из правого кармана пиджака, дядя молча стоял рядом с ним на еще совершенно пустынной улице, а потом вдруг ушел, пробормотав что-то насчет работы, а он, оставшись один, сел на ступеньку; мимо него, грохоча по булыжной мостовой, катились тележки с овощами, потом пробежал разносчик с корзинкой, полной булочек; оставляя после себя у каждой двери голубоватую струйку молока, девушка с большим бидоном стучала во все дома — дома эти наглухо закрыты ставнями, словно в них никто не жил, поразили его тогда своим великолепием, и сейчас еще на разрушенных стенах сохранилась та желтая краска, которая когда-то показалась ему такой благородной.

— Доброе утро, господин директор, — сказал ему кто-то, проходя мимо, он не заметил, кто именно, только успел рассеянно кивнуть в ответ, но знал наперед, что тот, войдя в учительскую, скажет: «Старик наш опять того...»

«У меня есть три возможности, — думал он, — я могу как бы впасть в детство, снова стать тем мальчишкой, который сидит на ступеньке, могу остаться человеком с бледным, одутловатым лицом и могу превратиться в дядю Томаса». Мало заманчивым казалось остаться самим собой и до конца дней нести свой тяжкий крест — быть на людях словно в маске; вновь стать мальчишкой тоже не очень соблазняло: примостившись за кухонным столом, без разбору глотать книги, книги, которые любил, которые ненавидел, — он их просто пожирал, — и каждую неделю вести борьбу за бумагу и черновые тетради, которые исписывал какими-то заметками, расчетами, набросками сочинений; каждую неделю ему нужны были тридцать пфеннигов, и он воевал за них до тех пор, пока учителю не пришлось в голову дать ему старые тетради, с незапамятных времен валявшиеся в подвале школы, чтобы он вырвал из них все чистые страницы, но он вырвал и те, что были исписаны только с одной стороны, и дома сшил из них черными нитками толстые тетради, а теперь он ежегодно посылал в свою деревню цветы на могилу учителя.

«Никто так и не узнал, — думал он, — какой ценой мне все далось, никто, разве что Альфред, но Альфред выразил это глупым словом «ressentiment». Бессмысленно говорить об этом, бессмысленно пытаться что-либо объяснить, и меньше всех это способна понять женщина с красивым лицом, которая всегда лежит рядом со мной в постели».

Он постоял еще несколько мгновений в нерешительности, весь во власти прошлого: соблазнительней всего было выбрать судьбу дяди Томаса и все твердить одну-единственную фразу в ответ на печальный псалом, который пел хор, скрытый в кулисах мироздания.

Нет, только не стать снова ребенком, это чересчур тяжело: какой мальчик согласится теперь ходить в черных чулках? Компромиссным решением было бы остаться человеком с бледным, одутловатым лицом, а он всегда выбирал компромиссные решения. Он

подошел к мальчику, и когда его тень упала на мальчишку, тот поднял голову и испуганно взглянул на него.

— Как тебя зовут? — спросил Хемке.

Мальчик поспешно встал, залился краской и с трудом выдал ответ:

— Виерцек.

— Скажи, пожалуйста, по буквам, — попросил Хемке и вынул блокнот. Мальчик медленно повторил:

— В-и-е-р-ц-е-к.

— Ты откуда?

— Из Воллерсхейма, — ответил мальчик.

«Слава богу, не из моей деревни, — думал Хемке, — и фамилия у него не моя. А ведь он мог вполне оказаться сыном одного из моих бесчисленных кузенов».

— А у кого ты будешь жить в городе?

— У тети, — ответил Виерцек.

— Что ж, хорошо, — сказал Хемке. — Экзамен ты выдержишь, я уверен. У тебя, наверное, хорошие отметки и хорошая характеристика.

— Да, у меня всегда были хорошие отметки.

— Не бойся, — сказал Хемке. — Все будет в порядке, ты... — Он запнулся, ибо то, что Альфред называл *ressentiment* и эмоции, сдавило ему горло. — Смотри не простудись, камни холодные, — добавил он тихо, резко повернулся и направился в школу через квартиру привратника, потому что хотел избежать встречи с Ули и его матерью. Притаившись за занавеской вестибюля, он еще раз поглядел на детей и их родителей, ожидавших на улице, и, как всегда в день экзаменов, на него напала тоска: ему казалось, что он ясно читает на лицах этих десятилетних ребят их печальное будущее. Они толпились перед школьными воротами, как стадо перед хлевом: только двое или трое из этих семидесяти детей поднимутся над посредственностью, а все остальные так и останутся на задворках жизни. «Альфред заразил меня своим цинизмом», — подумал он и беспомощно, с мольбой поглядел на Виерцека, который все-таки

снова сел на ступеньку и, склонив голову, углубился, видно, в свои мысли.

«Я тогда серьезно простудился, — думал Хемке. — Этот мальчик выдержит, даже если я, если я... если я что? Ressentiment и эмоции, нет, дорогой мой Альфред, этими словами не выразить того, что меня раздражает».

Он вошел в учительскую, поздоровался с коллегами, которые уже ждали его, и сказал призратнику, снявшему с него пальто:

— Пора впускать детей.

По лицам педагогов он понял, что вел себя очень странно.

«Быть может, — подумал он, — я целых полчаса стоял на улице и глядел на Виерцека», — и он с испугом посмотрел на часы; но было всего лишь четыре минуты девятого.

— Господа, — сказал он громко, — помните, прошу вас, что для некоторых детей предстоящий экзамен куда более важен и окажет большее влияние на их судьбу, чем для многих из вас защита докторской диссертации через пятнадцать лет.

Педагоги ждали, что он что-нибудь еще скажет, а те, кто его знал, ждали, что он произнесет то слово, которое не устают повторять при каждом удобном случае, слово «справедливость». Но он ничего больше не добавил, только тихим голосом спросил у одного из своих коллег:

— Какая тема сочинения?

— «Интересный случай из моей жизни».

Хемке остался один в учительской.

Его страхи тогда, тридцать лет назад, насчет того, что через два года скамья в теткиной кухне станет ему коротка, оказались напрасными, потому что он провалился на экзамене, хотя сочинение и было на тему «Интересный случай из моей жизни». Он был уверен в себе до той самой минуты, пока их не впустили в школу, но едва он переступил порог класса, эта счастливая уверенность разом улетучилась.

Он начал было писать сочинение, тщетно пытаясь ухватиться за дядю Томаса. Но Томас почему-то вдруг оказался ему очень близким — слишком близким, чтобы о нем можно было написать сочинение. Он вывел заглавие: «Интересный случай из моей жизни», под ним написал: «Если бы только в мире царила справедливость» и поставил в слове «справедливость» «и» вместо «е», потому что смутно помнил, что есть какой-то закон чередования гласных, — на ум почему-то сразу пришел пример, увы, неверный: месть — мстить.

Больше десяти лет ушло на то, чтобы, думая о справедливости, отучиться тут же думать о мести.

Самым тяжелым из этих десяти лет был первый год после провала на экзамене: те, от кого хочешь уйти в новую жизнь, которая кажется, только кажется, лучше старой, бывают не менее жестокими, чем те, кто не знает, почему фунт лиха, кто ни о чем не имеет понятия и кого отец телефонным звонком избавляет от всего, что другим дается ценой долгих месяцев напряжения и страданий. Улыбка матери, рукопожатие, которым обмениваешься в воскресенье после мессы, торопливо оброненное слово, только и всего — вот в чем выражается справедливость этого мира, а другая справедливость, к которой он всегда стремился, но никогда не мог достичь, — это та, которую столь настойчиво требовал дядя Томас. Даниэль так одержимо мечтал о ней, что ему дали прозвище «Даниэль справедливый».

Он вздрогнул, когда вдруг открылась дверь и привратник ввел в комнату мать Ули.

— Мари, — произнес он, — что?.. Почему?..

— Даниэль, — сказала она, — я...

Но он прервал ее:

— У меня нет ни минуты времени... Нет, — сказал он жестко, вышел из комнаты и поднялся на второй этаж: гул голосов из вестибюля, где ждали матери, доносился туда приглушенно. Он подошел к окну, выходящему во двор, и сунул в рот сигарету, но

забыл ее зажечь. «Мне понадобилось тридцать лет, чтобы все преодолеть и получить представление о том, чего я хочу. Я освободил справедливость от мести, зарабатываю я прилично, хожу с суровой маской на лице, и большинство людей поэтому считает, что я достиг своей цели. Но я еще не достиг ее, только теперь я могу снять с лица и убрать, как убирают старую шляпу, стертую, но суровую маску, у меня теперь будет другое лицо, быть может, мое собственное...»

Он пощадит Виерцека, избавит его от года унижений; ни один ребенок не должен пережить то, что ему пришлось пережить, ни один, а меньше всего — этот, встреча с которым была встречей с самим собой.

БЕССМЕРТНАЯ ТЕОДОРА

Всякий раз, когда я попадаю на улицу Бенгельмана, я вспоминаю Бодо Бенгельмана, который ныне возведен Академией в ранг бессмертных. Впрочем, я думаю о нем, даже если я не иду по улице Бенгельмана, которая тянется от дома № 1 до дома № 678, из центра, мимо светящихся реклам баров, вплоть до окраины, до лугов, где мычат по вечерам коровы, требуя, чтобы их погнали на водопой. Эта улица проносит имя Бодо через весь город, тут находятся и ломбард и магазин «Дешевая распродажа Беккера», а я частенько заглядываю и в ломбард и в «Дешевую распродажу», во всяком случае, достаточно часто, чтобы никогда не забывать Бодо.

Когда я пододвигаю мои часы по прилавку ломбарда оценщику, а он, вставив в глаз лупу, разглядывает механизм и, пренебрежительно буркнув: «Четыре марки», возвращает их мне, и я со стесненным сердцем подписываю квитанцию, мчусь к кассе и жду там, пока пневматическая почта не выкинет мой залоговый билет, у меня хватает времени подумать о Бодо Бенгельмане, с которым мы не раз стояли вместе у этого самого окошечка.

У Бодо была старая пишущая машинка фирмы «Ре-

мингтон», на которой он перепечатывал свои стихи — всегда по четыре экземпляра в закладке. Раз пять мы тщетно пытались получить под эту машинку хоть какую-нибудь ссуду, но машинка была такая старая, она так стучала и скрипела, что администрация ломбарда в согласии с инструкциями оставалась непреклонной. И дед Бодо — владелец лавки скобяных товаров, и отец — налоговый инспектор, и сам Бодо — поэт-лирик, столько барабанили на этом «Ремингтоне», что под него уже не давали даже самой мизерной ссуды.

Теперь, конечно, есть музей Бенгельмана, где в одной из витрин с надписью «Перо, которым писал Бодо Бенгельман» хранится красная ручка с искусанным концом.

Но на самом деле этой ручкой, которую Бодо стянул у своей сестры Лотты, он написал всего два стихотворения, остальные — около пятисот штук — химическим карандашом, а некоторые отстукал прямо на машинке. Эту машинку мы все же в один прекрасный день загнали, как лом, за шесть марок восемь пфеннигов старику, по имени Хайзинг, который и слыхом не слыхал о бессмертных лирических строках, созданных на этой рухляди. Старьевщик Хайзинг жил на улице Гумбольдта и был увековечен Бодо в стихотворении под названием «Чулан скупердяя». Поэтому в музее Бенгельмана нет подлинных предметов, которыми поэт пользовался, сочиняя свои стихи, а вместо них в витрине красуется деревянная ручка со следами зубов Лотты. Сама же Лотта, давно забыв, что эта штука принадлежала ей, теперь способна часами проливать слезы, вспоминая о событиях, которых в действительности никогда не было. Однажды Лотта писала какое-то жалкое сочинение, а Бодо — я помню это абсолютно точно, — расправившись с двумя котлетами, целой горой салата, большим ванильным пудингом и двумя кусками сыра, схватил эту красную ручку и накатал в один присест «Осеннее сердце тонет во мгле» и «Плачь, плачь, волна». Лучшие стихи Бодо писал, наевшись до отвала; как и многие меланхолики, он вообще был

здоров пожрать. Красная ручка находилась в его руках не более восемнадцати минут, в то время как вся его поэтическая деятельность длилась восемь лет.

Теперь Лотта пожинает славу брата и хотя носит фамилию Хоссе по мужу, называет себя не иначе, как «сестра Бодо Бенгельмана». Она всегда была дрянью, доносила отцу, когда Бодо сочинял, потому что писание стихов относилось в семействе Бенгельманов к занятиям пустейшим и, следовательно, ззорным.

В общем Бодо настрадался как следует; в нем жила неистребимая потребность создавать высокую поэзию, это было просто каким-то проклятием. Но стоило ему взять лист бумаги, как Лотта, пронзительно вереща, немедленно мчалась со всех ног в прихожую или на кухню. А если там никого из домашних не оказывалось, она с воплем «Бодо опять сочиняет!» врывается в кабинет Бенгельмана-старшего, и господин Бенгельман, человек весьма энергичный, рыча: «Где этот балбес?», выскакивал в коридор. (В семье Бенгельманов все выражались не слишком изысканно.) Немедленно следовала взбучка: отец хватал Бодо за шиворот, тащил его по лестнице во двор и лупцевал чувствительного, как все лирики, поэта стальной линейкой, при помощи которой обычно проводил черту перед словом «Итого» на счетах своих клиентов.

Когда Бодо стал постарше, он частенько сочинял у нас дома, и я являюсь владельцем семнадцати рукописей неизданных стихотворений Бодо Бенгельмана, которые я пока намерен утаить, чтоб обеспечить себе безбедную старость. Одно из этих стихотворений начинается строчкой:

Лотта, лживая подлюга!..

(Говорят, именно Бодо возродил в нашей поэзии прием звукописи.)

В трудах и муках, непризнанный и битый, Бодо вкусил, наконец, радость совершеннолетия: ему стукнуло восемнадцать, и его отдали в ученики в обойный магазин. Обстоятельства благоприятствовали твор-

честву: хозяин целые дни напролет валялся пьяный под прилавком, а Бодо писал стихи на изнанке обоев.

Новый творческий подъем он пережил, когда влюбился в девчонку, которую воспел в цикле «Песни Теодоре», хотя ее вовсе не звали Теодорой. Бодо исполнилось девятнадцать лет, и первого декабря он накупил на все свое ученическое жалованье — пятьдесят марок — конвертов с марками и разослал триста своих стихотворений в триста различных редакций, не позаботившись при этом оплатить почтовые расходы по пересылке рукописей назад, — смелость, не знающая себе равных в истории литературы. Четыре месяца спустя, Бодо тогда не было и двадцати, он стал знаменитым поэтом.

Сто пятьдесят два стихотворения тут же напечатали, и взмокший от пота почтальон, доставляющий денежные переводы, ежедневно подкатывал на своем велосипеде к дому Бенгельманов. Дальнейшая история Бодо напоминает арифметическую задачку, для решения которой нужно перемножить число стихотворений Бодо на число немецких газет, а полученное произведение еще раз помножить на сорок марок.

Увы, славой своей Бодо наслаждался всего два года. Он умер от спазм, вызванных приступом хохота. Помню, он сказал мне: «Знаешь, слава в конечном счете это вопрос почтовых расходов», добавил шепотом: «Честно говоря, у меня вовсе не было таких серьезных намерений», и расхохотался. Он хохотал все громче, не в силах сдержать безудержно нарастающий смех, и умер. Эти предсмертные слова — единственный прозаический текст в творческом наследии поэта — я делаю достойным потомков.

Бодо Бенгельман означает главным образом циклом «Песни Теодоре» — двумястами любовными стихотворениями, не имеющими себе равных по накалу страсти. Сонм критиков безуспешно пытался раскрыть тайну Теодоры. Один из них бесстыдно утверждал, что так названа известная, ныне здравствующая поэтесса, и доказывал это весьма обстоятельно и весьма

оскорбительно для поэтессы, которую Бодо никогда и в глаза не видел, но которая вынуждена теперь признать, что она и есть та самая Теодора. Однако это неправда! Я заявляю об этом со всей ответственностью, потому что лично знаком с настоящей Теодорой. Ее зовут Кэте Боруцки, и ее можно увидеть в шестом отделе магазина «Дешевая распродажа Беккера», где она торгует писчебумажными принадлежностями. Именно на бумаге, купленной у Беккера, Бодо переписал начисто большинство своих произведений. Я частенько стоял рядом с Бодо у прилавка Кэте Боруцки — к слову сказать, очаровательной девушки, — она мило шепелявит, ни черта не смыслит в художественной литературе и зачитывается по вечерам, когда возвращается домой в трамвае, книжками из серии «Дешевые издания Беккера», которые продаются служащим магазина со скидкой.

Бодо прекрасно знал, какие книги она читает, но это нисколько не уменьшало его любви. Не раз я стоял с ним перед магазином, ожидая Кэте, а потом мы молча шли за ней следом, сперва летними вечерами, потом и в осеннем тумане, шли за ней по пятам, ни на секунду не упуская ее из виду, до самого пригорода, где, впрочем, она живет и сейчас. Как жаль, что Бодо был слишком робок и ни разу с ней не заговорил! Он никак не мог заставить себя это сделать, хотя страсть так и бурлила в нем. Даже когда он стал знаменитым поэтом и мог швыряться деньгами, он по-прежнему покупал бумагу в шестом отделе «Дешевой распродажи Беккера», только чтобы увидеть Кэте Боруцки — эту хорошенькую девчонку, которая очаровательно улыбалась и шепелявила, как богиня. Вот почему в «Песнях Теодоре» так часто встречается фраза:

Твой язычок мелькает, словно пламя,
Чем погасить его?..

Бодо часто посылал ей стихи без подписи, но надо полагать, что вся эта высокая лирика шла прямехонько на растопку печки в доме Боруцки и была, как говорится, «не в коня корм», если мне, скромному

летописцу, будет дозволено употребить это скромное сравнение.

Я и теперь нередко заглядываю в «Дешевую распродажу Беккера»; мне удалось установить, что за Кэте с недавних пор стал заходить молодой человек, по всем признакам менее застенчивый, чем Бодо Бенгельман; судя по одежде, он, должно быть, автомеханик.

Я мог бы выступить на любом историко-литературном симпозиуме и в два счета доказать, что именно Кэте Боруцки является таинственной Теодорой, но я никогда этого не сделаю, ибо для блага Кэте охраняю душевный покой автомеханика. Я часто захожу к ней в магазин, глажу ладошкой стопы писчей бумаги, рсуюсь в «Дешевых изданиях Беккера», долго выбираю ластик для простого карандаша и чувствую на себе дыхание истории.

ПРИЗНАНИЕ

Лишь нехотя называю я свою профессию; правда, она кормит меня, но вынуждает совершать поступки, на которые я не могу идти с чистой совестью; я — служащий управления по налоговому обложению собак и брожу по городу в поисках незарегистрированных шавок. Сам я маленький, толстенький, и мне нетрудно, сунув в рот сигару среднего качества, изобразить беззаботно фланирующего прохожего. Под этой личиной я обхожу парки и тихие улочки, вступаю в разговор с людьми, прогуливающими собак, запоминаю их имена и адреса, дружелюбно треплю их любимцев по шерсти, зная, что вскоре они принесут мне по пять-десять марок дохода.

Я нюхом узнаю зарегистрированных собак, чутьем угадываю, с чистой ли совестью пес подымает ножку у дерева. Особый интерес вызывают у меня беремненные суки, которые обещают увеличить число налогоплательщиков; я наблюдаю за ними, точно выясняю день их разрешения от бремени, расспрашиваю, куда собираются поместить щенят, но не тревс-

жу никого до тех пор, пока они не подрастут настолько, что их уже не посмеют утопить, — и только тогда поступаю с ними согласно закону. Быть может, мне следовало бы выбрать себе другую профессию, потому что собак я люблю, и в моем сознании постоянно происходит борьба: долг и любовь вступают во мне в единоборство, и я открыто признаю, что иногда побеждает любовь. Попадаются собаки, на которых я, как говорится, гляжу сквозь пальцы. Особой снисходительностью я отличаюсь теперь, потому что моя собственная собака тоже не зарегистрирована: эта дверняжка, о которой нежно заботится моя жена, стала любимейшей игрушкой моих детей, не подозревающих, что они отдали свое сердце существу, стоящему вне закона.

Жизнь и в самом деле полна риска. Мне, верно, надо быть осторожней, но именно тот факт, что я сам являюсь блюстителем закона, укрепляет во мне уверенность, что я постоянно могу его нарушать. Работа у меня тяжелая: я часами просиживаю в колючем кустарнике где-нибудь на окраине города, ожидая, что из сарая напротив раздастся вожделенное тьяканье или из соседнего барака, где, по моим расчетам, скрывается незарегистрированный пес, до меня донесется залиvistый лай; притаившись за полуразрушенной каменной стеной, я подолгу выслеживаю фокстерьера, про которого мне достоверно известно, что он не является обладателем регистрационной книжки и номерка на ошейнике. Усталый, грязный, возвращаюсь я домой, греюсь у печки, выкуриваю сигару и поглаживаю нашего Плутона, который виляет хвостом, напоминая мне всю парадоксальность моего существования.

Легко поэтому понять, как я дорожу воскресными прогулками с женой, детьми и Плутоном, во время которых мой интерес к чужим собакам носит чисто платонический характер, ибо в воскресенье даже незарегистрированные псы не подлежат выслеживанию.

Однако впредь мне придется избрать для воскресных прогулок другой маршрут, потому что вот уже два воскресенья подряд я встречаю своего на-

чальника, который всякий раз останавливается, здороваётся с женой и детьми и треплет по шерсти Плутона; однако странная вещь: Плутон его не выносит и сердито ворчит, готовый броситься на него, а меня это настолько волнует, что я начинаю прощаться с поспешностью, которая не может не вызвать подозрений у моего начальника, и он хмурит брови, замечая, что на лбу у меня выступают капельки пота.

Быть может, мне следовало бы зарегистрировать Плутона, но ведь мои доходы весьма скромны; быть может, мне просто надо было бы сменить профессию, но мне стукнуло уже пятьдесят, и в моем возрасте нелегко на это решиться; так или иначе, нельзя все время ходить по краю, и я зарегистрировал бы Плутона, если бы это было еще возможно. Но, увы, это стало уже невозможным: в легкой светской беседе жена моя сообщила начальнику, что собака у нас уже три года, что за это время она стала как бы членом семьи, что дети без нее ни шагу... ну, и тому подобные шуточки, из-за которых я теперь не могу зарегистрировать Плутона.

Тщетно пытаюсь я заглушить голос совести тем, что с удвоенным рвением исполняю свои служебные обязанности: ничто мне не помогает, я попал в положение, из которого не вижу выхода. Хотя сказано: «Не заграждай рта волу молотящему», я, однако, не знаю, достаточно ли гибкий ум у моего начальника, чтобы считаться с библейскими изречениями. Я человек погибший; некоторые, может быть, сочтут меня циником, да и как мне не стать им, раз я все время имею дело с собаками.

ВОКЗАЛ В ЦИМПРЕНЕ

Для железнодорожных служащих округа Вениш вокзал в Цимпрене давно стал чем-то вроде пугала.

Стоит кому-нибудь проявить халатность в работе или чем-либо другим вызвать недовольство начальства, как за его спиной говорят: «Будет продолжаться в том же духе, дождетсЯ, переведут в Цимпрен».

А ведь всего два года назад перевод в Цимпрен был голубой мечтой всех железнодорожных служащих округа Вениш.

Когда на окраине Цимпрена пробурили несколько пробных скважин и из них струями толщиной в метр забились фонтаны «черного золота», цены на земельные участки тут же возросли чуть ли не в десять раз. Но хитрые крестьяне все выжидали, и спустя четыре месяца, поскольку «черное золото» продолжало бить метровыми струями, цены на землю возросли уже в сто раз. Однако больше цены не повышались, потому что фонтаны начали становиться все тоньше — восемьдесят сантиметров, шестьдесят три, сорок; но на этом спад прекратился, сорокасантиметровые фонтаны били с полгода, и цены на землю, упавшие было процентов на пятьдесят, снова поднялись до суммы, в шестьдесят девять раз превышающей изначальную. Акции компании «СУБ ТЕРРА СПЕС» после многократных взлетов и падений стали, наконец, устойчивыми.

Лишь один человек в Цимпрене не поддавался соблазнам этого неожиданного дара природы: шестидесятилетняя вдова Клипп, которая вместе со своим слабоумным батраком Госвином как ни в чем не бывало обрабатывала свой участок в то время, как вокруг ее земли выросли целые колонии барачков из гофрированного железа, всевозможные торговые киоски, дощатые кинотеатры, а дети рабочих играли в отливающих нефтью лужах. Вскоре в специальных журналах, занимающихся вопросами социологии, появились статьи о «феномене Цимпрена» — обстоятельные работы с тонким анализом всех фактов, производивших в соответствующих кругах соответствующее впечатление. Был написан также роман-репортаж «Рай и ад Цимпрена» и снят по нему фильм, а в популярной иллюстрированной газете юная девица благородного происхождения опубликовала свои в высшей степени скромные мемуары: «На панели Цимпрена». Население города увеличилось за два года с трехсот восьмидесяти семи человек до пятидесяти шести тысяч восьмисот девятнадцати.

Управление железных дорог тут же перестроилось на новый лад; с быстротой, явно опровергающей несправедливо вошедшую в поговорку медлительность управления, выстроили большой современный вокзал с просторным залом ожидания, душевой, кинотеатром «Новости дня», книжным киоском, рестораном и багажным отделением. В этой связи начальник управления округа Вениш сказал фразу, которая еще долго была у всех на устах: «Цимпрен — это будущее нашего округа». Заслуженных чиновников, которым, однако, никак не удавалось получить повышение из-за отсутствия свободных должностей, тут же повысили в чине и перевели в Цимпрен; таким образом, лучшие силы округа оказались сосредоточенными в Цимпрене, который на заседании комиссии по составлению графика движения поездов был переведен в число станций, где останавливаются экспрессы. Впрочем, развитие города давало полное основание для столь поспешных действий: по-прежнему толпы людей устремлялись туда в поисках работы, и у дверей бюро по найму рабочих стояли огромные очереди.

Пивные в Цимпрене росли как грибы, а вдова Клипп и ее батрак Госвин стали там не только завсегдатаями, но и всеобщими любимцами — живым воплощением прошлого, хранителями фольклора, чуть ли не единственными представителями исконного населения, они оба поражали всех не только своим вкусом к крепким напиткам, но и склонностью к афоризмам, которые были для приезжих постоянным источником веселья. Люди охотно угощали Флору Клипп стаканом-другим пива, лишь бы услышать, как она говорит:

— Только не доверяйте земле, слышите, никогда ей не доверяйте, ведь неизвестно, что она таит в глубине, а глубина ее — сто восемь сантиметров!

Госвин, выпив две-три стопки водки, повторял столько раз, сколько требовали присутствующие, то изречение, которое большинство его слушателей уже знало по мемуарам юной девицы благородного происхождения, похвалявшейся, впрочем, без всякого на то основания интимными отношениями также и

с Госвином; итак, всякий, кто заговаривал с Госвином, всегда слышал в ответ одно:

— Вот увидите, увидите, говорю я вам.

Тем временем Цимпрен продолжал расти, беспорядочное нагромождение барачков, киосков из гофрированного железа, подозрительных пивных превратилось в благоустроенный маленький городок, в котором даже собрался как-то конгресс градостроителей. Компания «СУБ ТЕРРА СПЕС» уже давно смирилась с невозможностью откупить у вдовы Клипп ее поля, хотя они и были очень заманчиво расположены вблизи вокзала, и сперва казалось, что это обстоятельство нанесет непоправимый урон всему развитию города, однако потом умный архитектор сумел вписать эти поля (как крайне ценный декоративный элемент) в городской ансамбль и даже эффектно их использовать; и вот получилось, что капуста, картошка и репа росли как раз там, где компания «СУБ ТЕРРА СПЕС» хотелось бы построить главное здание управления и бассейн для ведущих инженеров.

Но Флора Клипп оказалась неумолимой, и Госвин так же упорно твердил, словно припев псалма, свое изречение:

— Вот увидите, увидите, говорю я вам...

С присущим ему усердием, даже с любовью продолжал он пропалывать грядки с репой, сажать ровными рядами, словно по линейке, картошку и клясть нефтяную копоть, которая портила листву.

Новость была похожа на слух, да и распространялась как слух: люди шепотом передавали друг другу, что нефтяные фонтаны снова стали тоньше; будто бы толщина их уже не сорок сантиметров, а — это говорилось только на ухо — всего тридцать шесть; но на самом деле к этому времени она уже дошла до двадцати восьми; а когда, наконец, официально объявили, что толщина уменьшилась до тридцати четырех сантиметров, она в действительности составляла всего лишь девятнадцать. Эта почти официальная дезинформация зашла так далеко, что когда из многострадальной земли уже ничего решительно не било, в сводке сообщалось, будто толщина струи пятнад-

цать сантиметров. Таким образом исыякшую нефть официально заставили бить еще целых две недели; под прикрытием ночной темноты тайно перевозили в цистернах нефть из отдаленных разработок, принадлежащих компании «СУБ ТЕРРА СПЕС», и потом, как местную, доставляли на станцию, где ничего не подозревавшие железнодорожники, как всегда, обеспечивали отправку. Все же и в официальных сообщениях медленно снижали добычу нефти, толщина фонтана все уменьшалась — с пятнадцати сантиметров до двенадцати, потом с двенадцати до семи, а с семи резким скачком — до нуля, причем было объявлено, что скважины исыякли временно, хотя все посвященные в дела компании отлично знали, что исыякли они окончательно.

Однако для вокзала Цимпрен эти дни оказались особенно горячими: количество составов с цистернами, правда, резко сократилось, зато приток людей, ищущих работу, настолько увеличился, что это можно было объяснить лишь исключительной предприимчивостью начальника пресс-бюро компании «СУБ ТЕРРА СПЕС», а одновременно начался и отъезд уволенных рабочих, да и большинство тех, кто мог бы на демонтаже оборудования еще около года зарабатывать себе на хлеб, сами попросили расчета, растревоженные всевозможными слухами, так что у билетной кассы и в камере хранения образовалось такое столпотворение, что начальник вокзала, видя, как его лучшие работники просто изнемогают, был вынужден с горя просить в округе подкрепление. В управлении созвали экстренное заседание совета и быстренько приняли решение учредить в Цимпрене еще одну — пятнадцатую — штатную должность. Говорят — если можно верить слухам, — что на этом внеочередном заседании дело не обошлось без жарких споров и что многие члены совета возражали против учреждения в Цимпрене новой штатной должности, но начальник управления округа Вениш будто бы заявил:

— Наш долг противопоставить необоснованным пессимистическим слухам вполне оптимистические решения.

В вокзальном буфете была примерно такая же толчея, что и у кассы: уволенные пили с отчаяния, вновь прибывшие, исполненные радужных надежд, — на радостях, но так как пиво развязывает языки, то каждый вечер завершался грандиозной совместной попойкой обеих групп. На этих попойках и выяснилось, что слабоумный Госвин вполне в состоянии перевести свое изречение из будущего времени в настоящее, теперь в ответ на все он твердил:

— Вот видите, теперь-то видите?

Тщетно пытался высший технический персонал компании возродить скважины; из далеких прерий в Цимпрен срочно доставили на самолете загорелого человека с отважным лицом, одетого в некое подобие ковбойского костюма, дни напролет мощные взрывы сотрясали землю и людей, но даже загорелый не смог выжать из темной земли струи толщины хотя бы в миллиметр. Выдергивая из грядок морковь, Флора Клипп часами наблюдала за одним очень молодым инженером, который с остервенением жал рукоять насоса; в конце концов она перелезла через забор, схватила молодого человека за плечи, увидев, что он плачет, прижала к своей груди и сказала, чтобы утешить:

— Бог ты мой, парень, раз уж у коровы пропало молоко, то оно пропало, тут ничего не попишешь.

Исчезновение нефти так явно противоречило всем официальным прогнозам, что к слухам, которые день ото дня становились все мрачнее, стали в виде приправы добавлять словечко «саботаж», надеясь отвлечь им чересчур горячие головы. Власти не остановились даже перед тем, чтобы арестовать Госвина и судить его; правда, из-за полного отсутствия улик его пришлось оправдать, однако в его прошлом раскопали одну подробность, которая у многих вызвала неодобрение; в юности он целых два года жил в одном квартале с трамвайщиком, который слыл коммунистом. Недоверие не пощадило даже добрую Флору Клипп: у нее в доме устроили обыск, во время которого, впрочем, не удалось найти ничего предосудительного, не считая красной подвязки; Флора Клипп

заявила по этому поводу, что любила в молодые годы носить красные подвязки, однако это объяснение не вполне удовлетворило следственную комиссию.

Акции компании «СУБ ТЕРРА СПЕС» стали дешевле пареной репы, а закрытие предприятия Цимпрен объяснили весьма туманно: политические причины, обнародование которых причинило бы ущерб государству, вынуждают компанию прекратить все работы.

Цимпрен быстро пустел; буровые вышки демонтировали, бараки перепродали, и хотя земельные участки ценились теперь в два раза дешевле, чем до начала нефтяной лихорадки, ни у одного крестьянина не нашлось мужества попытаться завести хозяйство на этой грязной, истерзанной земле. Жилые дома продавались на снос, из грунта выкапывали канализационные трубы. Целый год Цимпрен был настоящим Эльдорадо для скупщиков металлолома и всяких старьевщиков, но они не нуждались в услугах даже багажного отделения вокзала, поскольку свою добычу переправляли только на старых грузовиках. Таким путем из Цимпрена вывезли шкафы и больничное оборудование, пивные кружки, письменные столы и трамвайные рельсы.

Долгое время начальник управления железных дорог округа Вениш ежедневно получал анонимную открытку со следующим текстом: «Цимпрен — это будущее нашего округа». Однако все попытки найти отправителя не увенчались успехом. Еще в течение полугода Цимпрен оставался железнодорожной станцией высшего разряда, поскольку он был соответственным образом обозначен в интернациональных справочниках. Пишущие жаром, громяхающие скорые поезда останавливались на этой станции с ослепительно новым вокзалом, где никто никогда не выходил и не садился; случалось, что пассажир, зевая, выглядывал в окно и недоумевал, как иногда недоумевают пассажиры на каком-нибудь захудалом полустанке: «Почему мы здесь стоим?» Да что это, уж не почудилось ли ему, неужели в глазах интеллигентного вида дежурного, который судорожным жестом поднял жезл, блеснули слезы?

Нет, пассажиру не почудилось: начальник вокзала Вейнерт в самом деле плакал; в свое время он не без труда добился перевода из Хулькина — станции, не имевшей особых перспектив, хотя там и останавливаются скорые, в Цимпрен, и вот теперь тут зря пропадали его опыт, административный талант, интеллигентность. Впрочем, на станции Цимпрен было еще одно лицо, из-за которого случайно выглянувший в окно зевающий пассажир долго не мог ее забыть: какой-то оборванец стоял посреди поля, опираясь на мотыгу, и орал что было мочи вслед поезду, замедлившему ход у шлагбаума:

— Вот видите! Теперь-то вы видите!..

Прошло два унылых года, и Цимпрен вновь стал деревней, правда совсем маленькой, потому что хитрая Флора Клипп, дождавшись, когда цена участков стала в десять раз меньше изначальной, а скупщики старья и утиля очистили землю от всевозможного хлама, приобрела территорию почти всего Цимпрена. Впрочем, операция фрау Клипп тоже оказалась несколько поспешной, ибо ей так и не удалось заманить в Цимпрен нужное количество людей, чтобы обработать приобретенные поля.

Единственное, что осталось в Цимпрене неизменным, — это новый вокзал. Рассчитанный на город в сто тысяч жителей, он обслуживал теперь восемьдесят семь человек. Огромный вокзал современной архитектуры, оборудованный по последнему слову техники. Окружное управление железных дорог в свое время, не колеблясь, решило истратить значительную сумму на художественное оформление здания; таким образом, северный безоконный фасад оказался украшенным огромной фреской гениального Ганса Отто Винклера; эта композиция, названная управлением «Человек и колесо», была выдержана в серо-зеленых, черных и оранжевых тонах и изображала историю изобретения колеса. Однако, поскольку железнодорожные служащие предпочитали южный фасад вокзала северному, единственным зрителем этого шедевра на долгие годы оказался слабоумный Госвин, который обедал как раз перед фреской в те дни,

когда перекапывал под картошку бывший товарный двор нефтяной компании.

По вновь утвержденному расписанию поездов Цимпрен был исключен из разряда станций, где останавливаются скорые поезда, и тогда наигранный показной оптимизм служащих бесповоротно рухнул. Они было хотели утешить себя словом «кризис», но это звучало неубедительно, ибо такое оптимистическое слово явно не соответствовало безысходности их положения. Так или иначе, пятнадцать служащих, в том числе шестеро семейных, оказались прикованными к вокзалу, мимо которого с презрением проносились скорые поезда; ежедневно три грузовых состава, не удостоив Цимпрен даже гудка, проходили мимо его платформ. Только два поезда в сутки останавливались здесь, оба местные, один из Сенштеттена в Хенкиме, а другой из Хенкиме в Сенштеттен. С работой на цимпренском вокзале легко справились бы два человека, а заняты там были пятнадцать.

Начальник окружного управления предложил, как всегда, смелый план — взять да и аннулировать тринадцать штатных единиц в Цимпрене, а освободившихся служащих перевести на другие, подающие надежды станции, но против такого решения выступил союз защиты прав железнодорожников и, опираясь на закон, доказал, что аннулировать штатные единицы столь же невозможно, как сместить федерального канцлера; кроме того, союз привел соображения некоего специалиста по нефти, который утверждал, что бурение скважин не было достаточно глубоким и что компания просто спасовала перед трудностями. Перспектива возобновления добычи нефти в Цимпрене — уверял он — несомненно существует, но все дело в том — и это ни для кого не секрет, что компания «СУБ ТЕРРА СПЕС» недостаточно уповаает на бога. Спор между союзом и управлением катился по инстанциям все выше и выше, пока третейский суд не решил его в пользу союза. Таким образом, штатное расписание вокзала в Цимпрене не изменилось, и никто из служащих не был переведен на другие станции.

Больше других страдал от своего положения молодой путеец Зухток, которому когда-то в школе пророчили блестящую карьеру, а теперь он возглавлял камеру хранения, в которой вот уже два года не было ни одного клиента. У заведующего билетной кассой дело обстояло немного лучше, но только немного. Работники отдела связи утешались тем, что слышат гул телеграфных проводов, доказывающий, что где-то, пусть не в Цимпрене, что-то происходит.

Жены пожилых служащих организовали клуб любителей бриджа, а жены тех, кто помоложе, секцию бадминтона, однако как дамам, играющим в бридж, так и дамам, играющим в бадминтон, все настроение портила Флора Клипп, которая из-за нехватки рабочей силы собственноручно трудилась на поле, прилегающем к вокзалу; время от времени она отрывалась от работы и, повернувшись к зданию вокзала, орала: — Гнусный сброд!.. Бездельники!

Она употребляла выражения и похлестче, но привести их здесь невозможно, ибо они непечатны. Госвина тоже волновали молодые красивые дамы, игравшие перед вокзалом в бадминтон, и он на деле доказал, что расширил свой словарный запас.

— Шлюхи! — вопил он. — Все до одной шлюхи!

Это словечко, как утверждали холостые служащие — те, что помоложе, — он перенял от юной девицы благородного происхождения.

В конце концов молодые дамы, равно как и пожилые, пришли к выводу, что нельзя далее мириться с подобными оскорблениями; повсюду были разосланы жалобы, и началось разбирательство. В Цимпрен стали ездить адвокаты, и молодой Зухток, у которого, как известно, в течение двух лет не было ни одного клиента, радостно потирал руки: шутка ли, за день ему сдали на хранение два портфеля и три зонтика. Но когда он принимал у клиентов эти предметы, его остановил кладовщик Ульшайд, напомнив, что ему, как заведующему камерой хранения, положено осуществлять лишь общее руководство, а непосредственная приемка вещей входит в его, ульшайдовские, обязанности. Претензии Ульшайда и в самом деле были

справедливы, и Зухтоку пришлось удовольствоваться тем, что по окончании рабочего дня, когда портфели и зонтики были возвращены владельцам, он с торжеством сдал в кассу доход камеры хранения: пять раз по тридцать пфеннигов — впервые за два года защелкали клавиши новенькой кассы.

Тем временем умный начальник вокзала сумел договориться с Флорой Клипп, правда, ценой известного компромисса: она обязалась не позволять себе больше никаких необоснованных, по ее собственному признанию, грубых выражений, а также пообещала заставить Госвина прекратить все выпады против жен железнодорожников. Со своей стороны начальник разрешил вдове в порядке, так сказать, личного одолжения, поскольку официально обусловить это не представлялось возможным, пользоваться мужской уборной как кладовкой для хранения сельскохозяйственных инструментов, а дамской для тех целей, какие были предусмотрены архитектором; более того, вдова Клипп получила право — только это должно было храниться в строгой тайне, поскольку это выходило за пределы того, что можно назвать личным сдолжением, — ставить трактор в пакгауз багажного отделения и съедать свой обед, сидя в мягком кресле вокзального ресторана. По доброте душевной вдова Клипп, исполненная жалости к молодому Зухтоку, время от времени сдает свою продуктовую сумку или зонтик в камеру хранения.

Лишь немногим служащим удалось добиться перевода из Цимпрена. Но на освободившиеся места необходимо было назначить других служащих, и в окружном управлении ни для кого не было секретом, что Цимпрен стал местом изгнания, неким исправительным заведением. Таким образом, там постепенно собирались пьяницы и всякого рода аморальные личности, к великому ужасу редющей кучки добропорядочных старых служащих, которым по разным причинам до сих пор не удавалось отсюда выбраться.

С грустью в сердце подписал начальник вокзала кассовый отчет, согласно которому сумма годового

дохода равнялась тринадцати маркам и восьмидесяти пфеннигам, за этот период было продано: два билета «туда» и «обратно» до Сенштеттена — это пономарь и служка приходской церкви совершали свое ежегодное паломничество к чудотворному источнику в сенштеттенских пещерах; два билета в Хенкиме, тоже «туда» и «обратно», были проданы старику Бандики, который ездил в сопровождении сына к ушному врачу; еще один билет в Хенкиме приобрела бабушка Глюш, ездившая к своей овдовевшей невестке помочь ей варить сливовое повидло; назад старуху привез Госвин на багажнике своего велосипеда; восемь раз сдавались вещи в камеру хранения: два портфеля и три зонтика адвокатов, дважды — сумка Флоры Клипп и один раз ее зонтик, кроме того, было продано два перронных билета — это приходский священник провожал и встречал сенштеттенских паломников — пономаря и служку.

Весьма печальный итог для такого способного человека, как начальник вокзала, который из честолюбивых устремлений в свое время добился перевода из Хулькина в Цимпрен. Теперь он начисто утратил веру в свое призвание. Это он посылает начальнику окружного управления анонимные открытки и даже время от времени звонит ему по телефону и, искусно изменив голос, повторяет ту же фразу, что пишет в открытках: «Цимпрен — это будущее нашего округа».

Правда, с недавних пор некий студент-искусствовед зачастил в Цимпрен — он собирает материал для дипломной работы о творчестве Ганса Отто Винклера, который за это время успел скончаться.

Целые дни юноша проводил в пустом комфортабельном здании вокзала, пополняя свои заметки и ожидая хорошей погоды, чтобы сфотографировать знаменитую фреску. Там он жевал всухомятку свои бутерброды, сетуя на отсутствие буфета и пива, ибо тепловатая вода из крана вызывала у него отвращение. С изумлением он обнаружил, что в мужской уборной хранятся всевозможные предметы, явно не относящиеся к вокзальному имуществу, и хотя он

приезжал довольно часто, потому что огромную фреску ему удавалось сфотографировать лишь в фрагментах, это, увы, никак не отражалось на состоянии вокзальной кассы, поскольку он всегда приезжал с обратным билетом и ни разу не пользовался услугами камеры хранения. Единственный человек, извлекая некоторую пользу из любви студента-искусствоведа к творчеству Винклера, был молодой контролер Брем, которого в наказание за пьянство спровадили в Цимпрен; ему выпала привилегия компостировать обратный билет студента, привилегия, незаслуженно дарованная ему судьбой и вызывавшая зависть его коллег. Этот самый Брем написал жалобу на то, что мужская уборная на вокзале используется не по назначению, чем спровоцировал скандал, который еще раз привлек внимание к Цимпрену. Может, кто-нибудь еще помнит о нашумевшем судебном процессе по делу о «своекорыстном использовании вокзальных помещений», хотя, впрочем, все это тоже уже давно кануло в прошлое. Начальник вокзала надеялся, что в виде наказания его переведут из Цимпрена, но эти надежды, увы, не оправдались: наказывают тем, что переводят в Цимпрен, а не из Цимпрена.

НЕЖДАННЫЕ ГОСТИ

Я ничего не имею против животных, наоборот, я люблю животных, и мне приятно вечером, уютно устроившись в кресле, с кошкой на коленях, почесать за ухом нашу собаку. Я с интересом слежу за тем, как дети, забившись в угол столовой, кормят черепаху. Даже к маленькому бегемотику, который живет у нас в ванной, я привязался всей душой, а кролики, скачущие по нашей квартире, уже давно меня несколько не раздражают. Кроме того, я привык заставлять у себя дома вечером неожиданных гостей: жалобно пищущего цыпленка или бездомного пса, которого моя жена решила приютить. Потому что моя жена — женщина добрая, она никому, ни людям, ни зве-

рям, никогда не указывает на дверь, и давно уже наши дети кончают свою вечернюю молитву словами: «Господи, пошли нам нищих и зверей!»

Гораздо хуже, что жена не может устоять ни перед коммивояжерами, ни перед страховыми агентами, поэтому у нас дом забит такими, на мой взгляд, ненужными вещами, как горы мыла, лезвия, щетки, штопка, а в ящиках лежат документы, вселяющие в меня тревогу: всевозможные страховые полисы и контракты. Мои сыновья застрахованы как учащиеся, дочери — как невесты, но не можем же мы их кормить до аттестата зрелости или до свадьбы штопкой и мылом, да и лезвия усваиваются человеческим организмом только в исключительных случаях.

Поэтому меня можно понять, если время от времени я проявляю признаки легкого нетерпения, хотя вообще-то слышу человеком спокойным. Часто я ловлю себя на том, что с завистью смотрю на кроликов, которые, уютно расположившись под обеденным столом, безмятежно грызут морковку, а то вдруг возьму да и покажу язык бегемотику, который тупо глядит в одну точку, развалившись в нашей поросшей тиной ванне. Черепаха, стоически пожирающая листья салата, даже не подозревает, какие тайные желания терзают мою душу: я тоскую по ароматному крепкому кофе, по табаку, по хлебу и яйцам и по тому живительному теплу, которое после стопки водки разливается в жилах обремененных заботами людей. Мое единственное утешение — это Белло, наш пес, беспрестанно зевающий от голода, как и я. А когда у нас еще появляются неожиданные гости — мои современники, такие же небритые, как я, или матери с младенцами, которых потчуют горячим молоком и размоченными сухарями, то я должен держать себя в руках, чтобы сохранить хладнокровие. Но я стараюсь его сохранить, потому что, кроме него, у меня, пожалуй, уже ничего не осталось.

Бывают дни, когда от одного вида свежесваренной рассыпчатой картошки у меня текут слюнки, ибо уже давно — в этом я признаюсь неохотно, краснея от стыда, — уже давно наша кухня не заслуживает на-

звания домашней. Осажденные животными и незваными гостями, мы больше не обедаем, а только изредка на ходу что-то перехватываем.

К счастью, жена моя теперь надолго лишилась возможности приобретать ненужные вещи, потому что у нас больше нет никаких наличных денег — на мое жалованье наложен арест, а я сам вынужден, переодетый, чтобы меня, не дай бог, не узнали, обходить по вечерам дома в дальнем пригороде и предлагать за полцены лезвия, мыло и пуговицы, ибо наше положение стало просто угрожающим. Однако мы все же являемся владельцами нескольких центнеров мыла, многих тысяч лезвий и несметного количества пуговиц самых разнообразных образцов, и когда я к полуночи возвращаюсь домой и вынимаю из карманов вырученные деньги, мои дети, мои звери и моя жена глядят на меня горящими от возбуждения глазами, потому что по дороге домой я всегда покупаю хлеб, яблоки, сало, кофе, а главное, картошку, которую настойчиво требуют от меня и дети и звери, и в ночной тиши мы все собираемся за веселой трапезой — меня окружают умиротворенные звери, умиротворенные дети, жена мне улыбается, мы нарочно оставляем открытой дверь столовой, чтобы бегемотик не чувствовал себя одиноко, и из ванной до нас доносится его радостное хрюканье. В эти минуты моя жена обычно признается, что она спрятала в чулане неожиданного гостя, которого мне решаются показать только, когда мои нервы успокоятся от еды; и тогда робкие, небритые мужчины, смущенно потирая руки, садятся за наш стол, а женщины примащиваются на скамейке между нашими детьми и отпаивают своих орущих младенцев теплым молоком. Так я ближе узнал зверей, с которыми прежде мало сталкивался: чаек, лисичек, свиней, а как-то раз застал у себя дома маленького верблюжонка.

— Ну разве он не душка? — спросила меня жена, и мне поневоле пришлось подтвердить, что он душка, хотя я с тревогой глядел на это странное животное цвета домашних туфель, которое неутомимо чавкало, не сводя с нас своих шиферно-серых глаз. К счастью,

верблюд гостил у нас всего неделю, а мои торговые дела шли хорошо: я уже успел себя зарекомендовать качеством товара и неслыханно низкими ценами, время от времени мне даже удавалось сбывать шнурки и щетки, хотя на них обычно нет спроса. Для нас наступил период некоторого процветания, вернее, так это выглядело, и моя жена, игнорируя основы экономики, стала часто повторять фразу, которая вселяла в меня тревогу: «Мы на подъеме». А я ведь видел, как тают наши запасы мыла, как неумолимо уменьшаются горы лезвий и даже щеток и штопки становятся все меньше и меньше.

И вот в то время, когда я уже был готов снова пасть духом, однажды вечером мы все мирно сидели за столом, как вдруг наш дом сотрясся от толчка, по силе подобного среднему землетрясению: картины на стенах заплясали, стол накренился, и круг кровавой колбасы скатился с тарелки. Я было вскочил, чтобы выяснить причины этого странного явления, но неожиданно заметил на лицах детей затаенные улыбки.

— Что здесь происходит? — закричал я и впервые за всю мою богатую неожиданностями жизнь потерял всякое самообладание.

— Вальтер, — тихо сказала мне жена и положила вилку на стол, — это всего лишь Волло.

Она заплакала, а при виде ее слез я всегда сдаюсь — она ведь подарила мне семерых детей.

— Волло? Это еще кто такой? — устало спросил я, и в это мгновение дом вновь сотрясся до основания.

— Волло — это слон, который живет теперь у нас в подвале, — объяснила мне моя младшая дочка.

Должен признаться, что я растерялся, и думаю, мою растерянность можно понять. До сих пор самым крупным животным из всех, какие находили у нас приют, был верблюд, и я полагал, что слон слишком велик для нашей квартиры, ведь мы еще не пользовались благами нового жилищного строительства.

Жена и дети, ничуть не разделявшие моего беспокойства, рассказали, в чем дело: разорившийся

хозяин бродячего цирка поместил у нас на время своего слона. С помощью трапа, по которому обычно сгружают уголь, удалось без особого труда спустить его к нам в подвал.

— Он весь скрючился, стал как шар, — сказал мой старший сын, — на редкость умное животное!

Я не высказал на этот счет никаких сомнений, примирился с пребыванием Волло в нашем доме, и меня торжественно препроводили в подвал. Слон был не слишком велик, он шевелил ушами и, казалось, чувствовал себя у нас неплохо, благо для него припасли охапку сена.

— Ну, разве он не прелесть? — спросила меня жена, но я упорно не желал этого признать. Слово «прелесть» казалось мне в данном случае неподходящим. Вообще моя семья была явно разочарована малой степенью моего воодушевления, и когда мы вышли из подвала, жена сказала мне:

— Это с твоей стороны просто недостойно. Ты что, хочешь, чтобы его пустили с молотка?

— При чем здесь молоток? — сказал я. — И что значит недостойно? Да к тому же укрытие имущества, которое должно быть продано с торгов, карается законом.

— Мне все равно, — ответила жена. — Слона надо спасти.

Среди ночи нас поднял хозяин цирка — робкий черноволосый мужчина — и спросил, не найдется ли у нас места еще для одного зверя.

— Больше у меня ничего не осталось. Он — все мое достояние. Только на одну ночь. Да, кстати, как поживает слон?

— Хорошо, — ответила моя жена. — Только вот с желудком у него не все в порядке, и это меня тревожит.

— Это с ним бывает, — успокоил ее хозяин цирка. — Видимо, причина здесь в перемене обстановки. Ведь звери так чувствительны. Да, так как же, вы приютите мою кошку — только на одну ночь?

Он поглядел на меня, жена толкнула меня в бок и сказала:

— Не будь таким бессердечным.

— Бессердечным? Нет, я не хочу быть бессердечным. Пусть кошка поспит на кухне, я не против.

— Она у меня в машине, — сказал директор.

Я поручил устройство кошки жене и снова улегся в постель. Когда жена тихо легла рядом со мной, я обратил внимание на ее бледность, и мне показалось, что она дрожит.

— Тебе холодно? — спросил я.

— Да, — ответила она, — меня что-то знобит.

— Это от усталости.

— Быть может, — согласилась жена, но при этом она как-то странно на меня посмотрела. Спали мы спокойно, но мне почему-то приснился этот странный, обращенный на меня взгляд жены, и во власти какой-то непонятной тревоги я проснулся раньше обычного. Я решил по этому случаю хоть побриться.

На кухне под столом лежал лев средней величины; он спокойно спал, но во сне тихонько бил хвостом, — казалось, кто-то играет очень легким мячом.

Я осторожно намылил лицо, стараясь при этом не делать никакого шума, но когда я повернулся вправо, чтобы побрить левую щеку, то увидел, что лев глядит на меня широко открытыми глазами. «Они в самом деле похожи на кошек», — подумал я. О чем думал лев, я не знаю: он продолжал за мной наблюдать, а я продолжал бриться, и даже не порезался, но должен признаться, что это весьма странное ощущение — бриться в присутствии льва. Опыта обращения с хищниками у меня, честно говоря, не было, и я ограничился тем, что сам не сводил со льва пристального взгляда, а потом вытер лицо и вернулся в спальню. Жена моя уже не спала и хотела было что-то сказать, но я оборвал ее, крикнув:

— О чем тут разговаривать!

Тогда жена заплакала, а я положил ей руку на голову и сказал:

— Не станешь же ты отрицать, что это все же несколько необычно.

— А что обычно? — спросила жена, и я не нашелся, что ответить.

А тем временем проснулись кролики, дети зашумели в ванной, бегемотик — его звали Готлиб — загудел во весь голос, Волло начал потягиваться, только черепаха еще спала, впрочем, она вообще почти все время спит.

Я пустил кроликов на кухню — там под шкафом стояла их кормушка: кролики обнюхали льва, лев — кроликов, а мои дети — они ведь так порывисты и привыкли возиться с животными — тоже давным-давно торчали на кухне. Мне даже показалось, что лев улыбнулся. Мой третий сын сразу же нашел ему имя: Бомбилус. Так оно за ним и осталось.

Через несколько дней хозяин цирка приехал за своими зверями. Должен признаться, мне ничуть не было жаль, что уводят слона; при ближайшем знакомстве я нашел его глупым; зато спокойная и приветливая серьезность льва покорила мое сердце, и мне было больно расставаться с Бомбилусом. Я так к нему привык, честно говоря, он — первое животное, которое всецело завоевало мою симпатию. Он был исполнен безграничного терпения по отношению к детям, сердечно сдружился с кроликами, и мы приучили его довольствоваться кровяной колбасой — продуктом, который имеет только внешнее сходство с мясом.

Мне было очень тяжело видеть, как уводят Бомбилуса, но я был рад избавиться от Волло. Я сказал об этом жене, когда зверей грузили в машину.

— О, как ты жесток! — сказала моя жена.

— Ты считаешь? — спросил я.

— Да, ты бываешь жесток.

Но я не уверен, что она права.

„ВЫ ПРИБЫЛИ В ТИБТЕН“

Бессердечные люди не в силах понять, почему я с таким старанием и смирением исполняю работу, которую они считают недостойной меня. Быть может, эта работа и в самом деле не соответствует моему образованию и ее не прославляла ни одна из тех песен, которые мне пели, когда я еще лежал в ксы-

бельке, зато мне она по душе, да и кормит меня: я сообщаю людям, где они находятся. Моим современникам, которые садятся вечером в своем родном городе в поезд, уносящий их в чужие края, и которые потом просыпаются среди ночи на нашем вокзале и растерянно вглядываются во тьму, не зная, проехали ли они нужную станцию, а может быть, еще не доехали, или как раз находятся у цели (ведь в нашем городе есть разные достопримечательности, привлекающие немало туристов), — всем им, находящимся в пути, я сообщаю, куда они прибыли. Я включаю микрофон и, как только поезд подходит к перрону и паровоз затихает, медленно бросаю в ночь одни и те же слова: «Город Тибтен — вы прибыли в Тибтен. Желаящие посетить гробницу Тибурта, выходите здесь!» Эхо моего голоса раскатывается под сводами вокзала и возвращается к моей кабинке: гулкий голос, громяющий из тьмы, — кажется, что он вещает нечто весьма сомнительное, хотя в действительности все, что я говорю, сущая правда.

Услышав мое сообщение, некоторые пассажиры поспешно хватают чемоданы и впопыхах выскакивают на тускло освещенную платформу, ибо Тибтен — цель их путешествия; мне видно, как они по лестнице спускаются в тоннель, а потом снова появляются уже на платформе номер один и у входа в город отдают билеты заспанному контролеру. По делам люди редко приезжают ночью, и среди моих пассажиров почти нет представителей фирм, прибывших сюда для закупки свинца на местных рудниках. Ночные путешественники в большинстве своем туристы, которых привлекает в нашем городе гробница Тибурта, римского юноши, покончившего с собой 1800 лет тому назад из-за любви к одной здешней красавице. «Он был еще мальчик, — начертано на его надгробье, которое выставлено в нашем краеведческом музее, — но любовь свела его в могилу». Он приехал в Тибтен из Рима по поручению своего отца, поставщика римского войска, чтобы закупить свинец.

Конечно, мне незачем было учиться на пяти факультетах и получать два университетских диплома,

чтобы из ночи в ночь вещать в темноту: «Город Тибтен — вы прибыли в Тибтен». И все же моя работа дает мне удовлетворение. Я говорю эту фразу тихо — так, чтобы не разбудить спящих, но все же достаточно громко, чтобы бодрствующие ее не прослушали, и голос мой звучит с той настойчивостью, которая необходима, чтобы все дремлющие очнулись и подумали, не следует ли им сойти в Тибтене.

Около полудня, когда я просыпаюсь и гляжу в окно, я вижу путешественников, последовавших ночью моему зову, — они идут группами по нашим улицам, до зубов вооруженные проспектами и путеводителями, которые наше рекламное бюро щедро рассылает по всему свету. Во время завтрака они уже успели прочесть, что название нашего города произошло от латинского слова «Тибуртинум», видоизменившегося на протяжении веков до своего нынешнего звучания «Тибтен», и теперь они направляются в краеведческий музей, чтобы полюбоваться надгробным памятником, который соорудили римскому Вертеру 1800 лет назад: барельеф из красноватого песчаника, изображающий мальчика, тщетно стирающего руки к удаляющейся возлюбленной. «Он был еще мальчик, но любовь свела его в могилу...» О его нежном возрасте свидетельствуют и те предметы, которые были найдены в гробнице: фигурки из слоновой кости — два слоника, лошадка и дог, — которые, как утверждает Бруслер в своем труде «Гипотеза о гробнице Тибурта», были чем-то вроде шахматных фигур. Однако эта гипотеза не представляется мне убедительной, я уверен, что маленький Тибурт просто играл ими: эти фигурки из слоновой кости как две капли воды похожи на те, что дают нам в придачу, когда мы покупаем не менее полфунта маргарина, да и назначение у них одно и то же: это игрушки для детей...

Быть может, мне следовало бы здесь сослаться на выдающееся произведение нашего земляка, писателя Фолькера фон Фолькерсена, который написал великолепный роман, озаглавленный: «Тибурт, или Судьба римлянина, погибшего в нашем городе». Однако я считаю, что роман Фолькерсена вводит читате-

лей в заблуждение, поскольку автор его придерживается точки зрения Бруслера на назначение найденных фигурок.

Пора мне, наконец, сделать это признание — я являюсь владельцем тех фигурок, которые нашли в могиле Тибурта; я выкрал их из музея, заменив другими, каждую из которых получил в придачу при покупке полфунта маргарина: двумя слониками, лошадкой и догом — они того же цвета, что и звери Тибурта, у них тот же вес и те же размеры, и они — а это представляется мне самым важным — имеют то же назначение.

Итак, к нам приезжают путешественники со всего света, чтобы поглядеть на надгробье Тибурта и на его игрушки. Рекламные плакаты с текстом: «Come to Tibten» висят в залах ожидания всего англосаксонского мира, и когда я ночью твержу одни и те же фразы: «Город Тибтен! Вы прибыли в Тибтен. Желающие посетить гробницу Тибурта, выходите здесь!» — я выманиваю из поезда всех, кого соблазнили наши рекламные плакаты, украшающие вокзалы провинциальных городов. Правда, любопытные осматривают надгробье из песчаника, историческая подлинность которого не вызывает сомнений, любят трогательным профилем отрока-римлянина; любовь свела его в могилу — он бросился в затопленную штольню на свинцовом руднике. А потом их взгляд скользит по фигуркам зверей: двум слоникам, лошадке и догу — они-то и могли бы помочь моим современникам постигнуть мудрость мира. Но, увы, этого не происходит. Взволнованные дамы, и наши и иностранки, засыпают могилу Тибурта розами, поэты посвящают ему стихи. Мои фигурки: слоники, лошадка и дог (мне пришлось съесть два фунта маргарина, чтобы заполучить их) — тоже стали предметами лирических излияний: «Играл он, как все дети, с малюткой догом и конем-малюткой...» — звучит в памяти строчка из стихотворения одного небезызвестного лирика. Итак, они лежат на красном бархате витрины под толстенным стеклом в нашем краеведческом музее — бесплатные сувениры фирмы «Яичный маргарин Клусхеннера», ве-

щественные доказательства потребления мною этого продукта. Часто после обеда, перед тем как отправиться на работу, я захожу на минутку в краеведческий музей и смотрю на них; они выглядят совсем подлинными, потемневшими от времени и решительно ничем не отличаются от тех, что валяются в ящике моего письменного стола, ибо настоящие фигурки я сунул туда же, где хранил подарки фирмы «Яичный маргарин Клухеннера», и теперь тщетно пытаюсь отличить их друг от друга.

Из музея я в глубокой задумчивости иду на работу, вешаю на вешалку шляпу, снимаю пиджак, прячу бутерброды в ящик, раскладываю на столе папиросную бумагу, коробочку с табаком, газету и, когда к перрону подкатывает поезд, говорю те фразы, которые обязан говорить в микрофон по долгу службы: «Город Тибтен... Вы прибыли в Тибтен. Желающие посетить гробницу Тибурта, выходите здесь!..» Я произношу эти фразы тихо, так, чтобы не разбудить спящих, но все же достаточно громко, чтобы бодрствующие ее не прослушали, а те, кто дремлет, очнулись и подумали, не следует ли им сойти в Тибтене.

И я не понимаю тех людей, которые считают эту работу недостойной меня...

В СТРАНЕ РУЮКОВ

Узкий круг специалистов уже давно по достоинству оценил выдающиеся заслуги Джеймса Водруфа, и я решил теперь вкратце рассказать о них широкой публике лишь затем, чтобы заплатить давнишний долг благодарности, ибо, хотя вот уже много лет, как я полностью порвал с Джеймсом Водруфом, он все же был моим учителем: он возглавлял (и продолжает возглавлять) ту единственную в мире кафедру, которая занимается изучением руюкской культуры, с полным правом слывет основоположником руюковедения, и если за последние тридцать лет у него было всего два ученика, то это нисколь-

ко не умаляет его научного веса, потому что именно он открыл это племя, изучил его язык, обычаи, религию и организовал две экспедиции на весьма негостеприимный остров южнее Австралии, и, несмотря на то, что ему случалось ошибаться, он все же внес неограниченный вклад в науку.

Первым его учеником был Билль ван дер Лоз; но о нем мне нечего сказать, кроме того, что в порту Сидней он вдруг опомнился, стал менялой, женился, наплодил детей и в конце концов приобрел ранчо в Центральной Австралии; таким образом, Билль оказался потерянным для науки.

Вторым учеником Водруфа был я сам: тринадцать лет своей жизни я потратил на то, чтобы в совершенстве освоить язык, обычаи и религию руюков; еще пять лет ушло на изучение медицины, так как я намеревался обосноваться в стране руюков в качестве врача, однако государственные экзамены сдавать я не стал, ибо полагал, что руюков интересует не диплом европейского университета, а искусство врачевания. Кроме того, после восемнадцати лет учебы мое нетерпение воочию увидеть, наконец, живых руюков достигло такого накала, что я не желал больше ни на неделю, ни даже на день откладывать встречу с представителями племени, языком которого я свободно владел. Я сложил рюкзаки, упаковал чемоданы, захватил портативную аптечку и ящик с инструментами, проверил свою чековую книжку и написал на всякий случай завещание — ведь я владелец загородного дома в Эйреле и арендатор фруктовых садов на Рейне. Потом я сел в такси, поехал на аэродром и купил билет до Сиднея, где меня должно было взять на борт одно китобойное судно.

Провожал меня мой учитель Джеймс Водруф. Он сам был уже слишком дряхл, чтобы снова отправиться в экспедицию, но на прощание все же всучил мне экземпляр своего знаменитого труда: «Народ вблизи Антарктики», хотя отлично знал, что его книгу я могу страницами шпарить наизусть. Пока я по трапу подымался в самолет, Водруф успел мне крикнуть: «Брувал долой дурабой», что в переводе

(вольном) значит: «Да сохранят тебя духи воздуха», а буквально это надо было бы перевести примерно так: «Пусть ветер не найдет на тебя злых демонов!», ибо рюки живут рыболовством и поклоняются ветру.

Ветер не наслал на нас злых демонов, и я благополучно прибыл в Сидней, пересел там на китобойное судно и неделю спустя сошел на крохотный островок, населенный, как утверждал мой учитель, П-рюками, которые отличаются от истинных рюков тем, что в их алфавите есть буква «П».

Но, как выяснилось, островок этот необитаем, во всяком случае, рюков на нем мне обнаружить не удалось. Целый день я бродил по тощим лугам, между крутых отвесных скал, и хотя я и натолкнулся на остатки рюкских построек, примечательных тем, что роль цемента в них играет какой-то рыбий клей, единственный человек, которого я повстречал на этом острове, оказался охотником на енотов, занимавшимся этим промыслом по заданию европейских зоопарков. Он спал, пьяный, в своей палатке, и когда я его разбудил и он убедился, что ничего плохого я не замышляю, он спросил меня на скверном английском о некоей Рите Хэйворт *. Поскольку я никак не мог разобрать имя, которое он называет, он написал его на клочке бумаги, похотливо закатывая при этом глаза. Но я не знал женщины, которую бы так звали, и, следовательно, не мог ему ничего сообщить. Три дня я был вынужден терпеть общество этого пошляка, который говорил только о фильмах.

Наконец мне удалось с помощью чека на 80 долларов перекупить у него надувную лодку, и, рискуя жизнью, хотя и был штиль, я пошел на веслах к другому острову, расположенному на расстоянии восьми километров и населенному истинными рюками. На этот раз предположение учителя подтвердилось. Еще издали я увидел на берегу людей, развешанные сети, лодочный сарай, и тогда я приветственно замахал руками, крикнул: «Йой вуба, йой вуба, бувенведа гухал»

* Американская кинозвезда.

(«Из-за моря, из-за моря пришел я помочь вам, братья»), и приналег на весла.

Но когда я приблизился к берегу, то увидел, что внимание столпившихся людей привлекла вовсе не моя лодка: с запада доносился треск моторного катера, его приветствовали, размахивая платками; никем не замеченный, высадился я на остров, по которому так долго тосковал, потому что моторный катер причалил почти одновременно со мной, и все побежали к сходням.

Я вытащил свою лодку на песок, раскупорил бутылку коньяка из моей походной аптечки и отхлебнул прямо из горлышка. Будь я поэтом, я бы сказал: «Разбилась вдребезги мечта, хотя мечты не бьются вовсе».

Я обождал, пока моторный катер (он оказался почтовым) вновь отчалит, взвалил на плечи мой багаж и направился к строению, на котором прочел незамысловатую надпись: «Бар». Бородатый рюк сидел там на стуле и читал открытку. Я опустился в изнеможении на деревянную скамью и тихо произнес: «Дойдой крув мали» («Ветер иссушил мою глотку»). Старик отложил открытку, с удивлением поглядел на меня и сказал на странной смеси рюкского и английского, каким говорят в кинофильмах:

— Подойди-ка сюда, парень, да скажи толком, чего тебе надо: пива или виски?

— Виски, — ответил я устало.

Он поднялся, протянул мне открытку и сказал:

— Вот почитай, что мне пишет внук.

На открытке стоял почтовый штамп Голливуда, а на обратной стороне была написана только одна фраза: «Родитель моего родителя, переправься через большую воду, здесь доллары сами катятся в карман».

Мне пришлось остаться на острове до прибытия следующего почтового катера; вечерами я сидел в баре и пропивал свою чековую книжку. Ни один из местных жителей уже не говорил на чистом рюкском языке, но я обратил внимание на то, что все они часто упоминают одно женское имя — Зара Леан-

дер *; сперва я подумал, что оно взято из их мифологии, но потом понял его происхождение.

Должен признаться, что я забросил руюковедение. Правда, я полетел назад к Водруфу и даже пустился с ним в научный спор по поводу значения слова «бухал»: я уверял, что оно значит «вода», но Водруф упрямо утверждал, что оно обозначает «любовь». Однако уже давно эти проблемы утратили для меня былое значение. Я сдал свой загородный дом, а сам занялся садоводством и все еще не отказался от мысли завершить изучение медицины и держать, наконец, государственные экзамены, но тем временем мне уже стукнуло сорок пять лет, и то, чем я когда-то занимался всерьез как ученый, стало теперь для меня развлечением, что очень возмущает Водруфа. Когда я вожусь в саду со своими деревьями, я напеваю про себя руюкские песни; и одну из них я особенно люблю:

Вой зухал буваха
Брувал нуй лоха
Грага баху, грага вьюва
Моха дейва буваха.

(Почему ты хочешь уехать в дальние края, мой сын?
Неужели все добрые духи бросили тебя?
Там нет рыбы, там нет пощады,
И твоя мать будет лить слезы о сыне.)

Для ругани руюкский язык тоже вполне пригоден. Когда оптовые торговцы пытаются меня обмануть, я бормочу чуть слышно: «Грага вейта». («Тебе это не принесет благословения») либо «Пи-хал громхит» («Пусть у тебя в горле застрянет кость») — одно из самых страшных ругательств руюков.

Но кто в этом мире знает руюкский, кроме Водруфа, которому я время от времени посылаю ящик яблок и открытку со словами: «Вахи вахум» («Уважаемый учитель, ты заблуждаешься»), на что он мне обычно отвечает тоже открыткой: «Хугай» («Ренегат»),

* Американская кинозвезда.

и тогда я закуриваю свою трубочку и гляжу на Рейн, который уже так давно течет там, внизу, мимо крутого склона, где разбит мой сад.

ШМЕК НЕ СТОИТ СЛЕЗ

1

Когда Мюллер почувствовал, что сдерживать рвоту ему уже не вмоготу, в аудитории как раз воцарилась восторженная, благоговейная тишина. Нарочито беззвучный, искусно сдавленный до хрипотцы голос профессора Шмека вдруг (за семнадцать минут до конца лекции) окрасился теми бархатными, вкрадчивыми модуляциями, одновременно убаюкивающими и возбуждающими, которые безотказно действуют на определенную часть студентов (ярко выраженный интеллектуальный тип, называвшийся прежде «синим чулком»), вводя их в почти сексуальный транс; в эти мгновения они были готовы умереть за Шмека. Как любил говорить сам Шмек, правда, только в доверительных беседах, «к концу лекции моя мысль, доведенная до крайнего предела выразительности, до максимального напряжения, при всем своем рационализме начинает оказывать на слушателей иррациональное воздействие. Если вы вспомните, друзья мои, — добавлял он всегда, — что церковная служба длится столько же, сколько любовный акт, а именно, сорок пять минут, вы согласитесь со мной, что такие элементы, как ритм и пауза, подъемы и спады, кульминация и разрядка, неотъемлемы не только от богослужения и любви, но и, по моему глубокому убеждению, от университетской лекции».

К этому моменту, а наступал он примерно на тридцать третьей минуте лекции, в аудитории больше не было равнодушия: только благоговение или отвращение, причем восторженные слушатели доходили до такого накала, что готовы были вопить в испугании, на что скептики (а их было меньшинство) тотчас ответили бы провокационным визгом. Когда вероятность столь бурного, отнюдь не академическо-

го изъявления чувств перерастала в угрозу, Шмек прерывал начатую фразу и прозаическим жестом отрезвлял аудиторию, чтобы довести лекцию до ее логического финала: он вынимал пестрый, в крупную клетку, носовой платок (из тех, что прежде назывались «радость ломового извозчика») и громко сморкался, а тот заинтересованный взгляд, который он неизбежно бросал на платок прежде, чем спрятать его в карман, приводил в чувство даже самых исступленных девиц, слушавших чуть ли не с пеной на губах. «Мне необходимо поклонение, — любил говорить Шмек, — но я его не выношу».

Всякий раз после этого отрезвляющего жеста по рядам пробегал глубокий вздох, и сотни молодых людей клялись себе, что никогда больше не пойдут на лекции Шмека, и все же в следующий вторник они снова толпились у дверей аудитории за полчаса до начала лекции, стояли в очереди, чтобы сесть поближе к кафедре, с которой Шмек читал лекцию, пропускали лекции профессора Ливорно, его противника, ибо Шмек (надо сказать, что часы этих двух лекторов всегда совпадали) назначал свои лекции только после того, как Ливорно уже стоял в расписании; ради этого он каждый год как раз в то время, когда составлялось расписание, пускался в такие далекие путешествия, что даже по телеграфу с ним нельзя было связаться; перед началом прошлого семестра он, например, отправился в экспедицию к индейцам племени варрау, и его несколько недель невозможно было обнаружить в дебрях устья Ориноко, а потом, вернувшись в Каракас, он телеграфно сообщил дни и часы своих лекций — как всегда, они в точности совпадали с лекциями Ливорно, что заставило секретаршу деканата сказать: «Дело ясное, у него и в Вене-суэле есть свои шпионы».

Этим глубоким вздохом, пробежавшим по рядам, Мюллер и решил воспользоваться, чтобы сделать то, что должен был сделать уже четверть часа назад, но никак не мог отважиться: выйти в туалет и облегчиться. Когда он, слегка придерживая рукой портфель, встал и начал пробираться между скамьями,

по лицам студентов пробежало выражение возмущения и изумления, они лишь нехотя потеснились, чтобы дать ему пройти: даже противники Шмека не могли допустить, что кто-то способен добровольно упустить хоть минуту этого блестящего каскада мыслей — и тем более такой рьяный поклонник Шмека, о котором поговаривали как о возможном кандидате на место первого ассистента. Когда Мюллер добрался, наконец, до двери, он едва расслышал конец той фразы, которую Шмек прервал, чтобы высморкаться — «...к основному звену проблемы: грубошерстное пальто — одежда случайная или типическая, выражает ли она определенный социальный слой?».

2

Мюллер влетел в уборную в самую последнюю секунду, рывком расслабил узел галстука и расстегнул ворот рубашки; он услышал, как вырванная пуговка, звякнув о кафель, покатила в соседнюю кабинку, бросил портфель прямо на пол, и... его вырвало; он почувствовал, как выступивший на лбу холодный пот ледяными струйками покатился по щекам, к которым вновь прилила кровь; не открывая глаз, ощупью спустил он воду и с удивлением обнаружил, что не только полностью освободился от тошноты, но и как-то очистился, словно заново родился: вода в унитазе смыла куда больше, чем рвоту: часть его мировоззрения, подтвержденную страшную догадку, бешенство — он просиял от внезапно наступившего облегчения, вытер платком рот, наспех затянул галстук, поднял с пола портфель и вышел из кабинки. Товарищи не раз смеялись над ним за то, что он всегда таскал с собой мыло и полотенце, но теперь он лишний раз убедился, как это может пригодиться, — пусть себе смеются сколько влезет над его «мелкобуржуазной мыльницей»; он открыл эту мыльницу, и ему захотелось расцеловать маму, которая ему навязала ее три года назад, когда он отправлялся в университет: мыло ему сейчас нужно было больше всего; в нерешительности он взялся бы-

ло за галстук, но потом передумал, просто снял пиджак и повесил его на ручку двери, тщательно вымыл лицо и руки, провел мокрой ладонью по шее и торопливо вышел из уборной: лекции еще не кончились, в коридорах было пусто; если он поспешит, то сумеет прийти домой раньше Мари. «Я спрошу ее, — думал он, — может ли отвращение, отвращение чисто духовного свойства, вызвать вполне физическую рвоту».

3

Стояла ранняя весна, день был мягкий, сырой, и впервые за годы учебы в университете он забыл о трех ступеньках в главном портале, споткнулся, с трудом удержал равновесие и почувствовал, что последние ужасные пятнадцать минут не прошли бесследно: кружилась голова, мир вокруг вырастал, словно из тумана, но не казался враждебным. В саду между зелеными деревьями с портфелями и книгами под мышкой неторопливо расхаживали девушки, по виду филологички, их лица виделись ему чувственными, нечеткими, словно написанными в импрессионистской манере; даже студенты-богословы, спорящие о чем-то посреди университетского двора, не показались ему на этот раз такими отвратительными, как обычно, их пестрополосатые фуражки и ленты в петлицах могли быть лоскутками поблекшей радуги. Мюллер медленно шел к воротам и машинально кивал в ответ на приветствия, с трудом прокладывая себе дорогу во все нарастающем потоке спешащих на лекции студентов, тех, кто занимался во вторую смену.

4

Только в трамвае, проехав три остановки, он немного пришел в себя, и предметы постепенно стали приобретать обычную четкость очертания, словно он надел очки, компенсирующие недостающие диоптрии. Из пригорода в центр, а из центра в другой конец города почти час езды, за который можно все обдумать и во всем разобраться. В это немыслимо

было поверить. Какая нужда была Шмеку обкрадывать его, Рудольфа Мюллера, студента третьего курса? Он изложил Шмеку свою идею написать цикл исследований на тему «Социология одежды». И даже сообщил название первой статьи этого цикла: «Опыт социологического исследования грубошерстного пальто», и Шмек восторженно приветствовал эту идею. Пожелал удачи и посоветовал довести работу до самых широких обобщений. Разве он не читал Шмеку в кабинете первые страницы своего «Опыта», те самые страницы, которые он сегодня слово в слово услышал на лекции? Мюллер снова побледнел и, судорожно расстегнув портфель, принялся что-то искать; из портфеля выпали мыльница и учебник Шмека «Основы социологии». Где же его рукопись? Что это, сон, воспоминание или галлюцинация, но он явственно увидел сцену: улыбающийся Шмек в дверях своего кабинета, листы рукописи в руках профессора... «Конечно, я с удовольствием посмотрю вашу работу». Потом начались пасхальные каникулы, сперва он поехал домой, а затем с группой студентов на три недели в Лондон. И вот сегодня первая в новом семестре лекция Шмека: «Введение в социологию одежды, часть первая: социологическое исследование грубошерстного пальто...»

5

Пересадка. Он машинально вышел из трамвая, дождался нужного номера, сел в вагон и, заметив, что его узнала пожилая кондукторша, тяжело вздохнул. Неужели она и сегодня повторит свою обычную шутку, которую неукоснительно отпускала с того дня, как он предъявил ей свой студенческий билет? Да, она ее повторила: «Полдень, а господин студент уже свободен от трудов праведных, теперь, ха-ха, можно и к девочкам». Пассажиры засмеялись, Мюллер покраснел и протиснулся на площадку; ему хотелось выскочить на ходу, броситься бежать и поскорее оказаться дома, в своей комнате, чтобы окончательно во всем убедиться. Его дневник послужит доказательством, а может быть, взять в свидетельницы

Мари, ведь она печатала его работу, он прекрасно помнит, как она вынула из ящика копирку и предложила печатать в два экземпляра, но он сказал, что не надо, это лишь первый набросок, так сказать, проба пера, — он ясно увидел руки Мари, увидел, как она убрала копирку в ящик и принялась печатать: «Рудольф Мюллер, студент философского факультета, Гречишная, 17»; когда он ей диктовал заголовок, ему пришла мысль о том, что можно также написать социологическое исследование пищи — гречневая каша, оладьи, мясо с тушеной капустой, считавшееся в рабочих поселках, где прошло его детство, самым праздничным блюдом, в шкале радостей стоявшим по соседству с плотскими утехами, — сладкий рис с корицей, гороховый суп с салом; и прежде чем начать диктовать Мари, он думал о том, что вслед за «Социологическим исследованием грубошерстного пальто» он непременно напишет работу о жареной картошке. Замыслов хоть отбавляй, и он знал, что в силах все их осуществить.

6

Ох, эти бесконечно длинные окраинные улицы, когда-то они были военными трактами и по ним шагали римские легионеры, а потом наполеоновские солдаты. Номера домов уже перевалили за девятьсот. Снова почему-то вспомнилось все связанное с утренним происшествием: голос Шмека, неудержимый позыв на рвоту, когда Шмек впервые произнес «грубошерстное пальто», восемь-девять минут единоборства с тошнотой, тем более трудного, что он сидел в первом ряду; затем на тридцать третьей минуте лекции клетчатый платок Шмека, взгляд Шмека, оценивающий результаты шумного сморканья, наконец, уборная, а потом туманная сырость университетского сада, плывущие перед глазами чувственные лица филологичек, пестро-полосатые банты богословов, словно лоскутки гаснущей радуги, двенадцатый трамвай, потом пересадка на восемнадцатый, шутка кондукторши — и вот уже номера домов на Майнцерштрассе: 980, 981... Из верхнего кармана куртки

он вынул одну из трех сигарет, которые составляли его норму на первую половину дня, и пошарил в карманах, ища зажигалку.

— Эй, студент, поди-ка сюда, дай прикурить!

Устало улыбнувшись, он пошел по вагону к пожилой кондукторше, которая слезла со своего пьедестала. Он поднес горящую зажигалку к ее окурку, зажег и свою сигарету, затянулся и был приятно удивлен, что его не затошнило.

— Что, молодой человек, неприятности?

Он кивнул, напряженно посмотрел на ее грубое, с красными прожилками лицо, боясь услышать в виде утешения сальную шутку, но кондукторша лишь кивнула и сказала:

— Спасибо, кавалер.

И схватилась за его плечо, когда вагон дернуло при повороте на кольце.

Трамвай остановился, она вышла первая иაკо-выглядела к моторному вагону, где вожатый уже отвинчивал стаканчик своего термоса.

7

Как малы эти серые домишки, а эти улочки до того тесны, что стоящий у тротуара мотоцикл чуть ли не загораживал весь проезд; тридцать лет тому назад даже прогрессивно мыслящие люди не верили, что автомобиль сможет войти в быт; мечты о будущем успели здесь воплотиться в жизни и умереть; все, что в дальнейшем проявляло себя как новое и перспективное, принималось тут в штыки. Все улицы в этом районе были похожи друг на друга, начиная с Астровой и кончая Ясеновой; ромашка и чеснок, подорожник и богородицына травка (впрочем, от этого названия сперва хотели отказаться, считая, что оно звучит чересчур церковно, но потом все же решили ориентироваться только на ботанику), бирючина и бузина — одним словом, все, что растет, нашло свое отражение в названиях улиц этого района, в центре которого была площадь Энгельса, а вокруг шел бульвар Маркса. (Улицы Маркса и Энгельса еще раньше появились в других рабочих районах.) Маленькая

церквушка была выстроена много лет спустя, когда выяснилось, что у всех воинствующих атеистов верующие жены и что избирательный округ Цветочный двор (так назывался этот район) в один прекрасный день подал больше голосов за центр, чем за СПГ (у верующих матерей подросли воспитанные ими дети). Тогда пристыженные старые социалисты с горя напились и решили перейти в КПГ. Маленькая церквушка давным-давно стала тесна, особенно для воскресных служб, и в приходском совете был выставлен макет новой, большой. В ультрасовременном стиле. Церковь собирались построить на бульваре, но так как места для запроектированного здания там не хватает, то приход св. Бонифация, расположенный по соседству, выделил часть своей земли для строительства церкви св. Иосифа, покровителя рабочего люда. Ажурные краны уже подняли свои клювы в весеннее небо.

Думая о своем отце, Мюллер обычно пытался улыбнуться. Но тщетно Мюллеру казалось, что в этих маленьких серых домиках все еще гнездится просветительский антирелигиозный пафос двадцатых годов, что все еще жив культ свободной любви, и хотя теперь уже не поют: «Братья, к солнцу, к свободе!» — ему слышались на узких улочках отзвуки этой песни, и улыбка тут была неуместна. Настурциевая, Тюльпановая, Фиалковая, а вот и новая серия улиц в алфавитном порядке: Акациевая, Буковая, Вишневая и, наконец, он дошел до Гречишной («все, что растет»). Вот и дом номер семнадцать, а когда он увидел велосипед Мари, он, наконец, улыбнулся. Велосипед был прислонен к железной ограде, которой дядя Вилли обнес мусорный ящик, — грязный, разболтанный подростковый велосипед баронессы фон Шлимм, представительницы младшей ветви этого знатного рода. Исполненный нежности к велосипеду, он слегка пнул ногой покрышку заднего колеса. Распахнув дверь в тесную прихожую, откуда несло жареной картошкой, он крикнул: «Здравствуй, тетя!», взял пакет, лежавший на последней ступеньке лестницы, и помчался наверх. Лестница была такая узкая, что

он всегда терся локтем о красно-коричневую панель стены, и тетя Кэте утверждала, что она может с точностью подсчитать по следам локтя на крашеной стене, сколько раз он поднимался по этой лестнице. За три года учебы в университете, с тех пор как он поселился у тетки, на панели протерлась светлая проплешина.

8

Мари. Всякий раз он бывал взволнован силой своего чувства к ней, и всякий раз (а они провели вдвоем уже больше трехсот дней, он записывал в дневнике каждую их встречу) он удивлялся, до чего она тоненькая — в мыслях она не виделась ему такой худенькой, очевидно потому, что, когда они бывали вместе, он переставал это замечать, а при очередной встрече вновь поражался ее хрупкости. Сняв туфли и чулки, она прилегла на его кровать; темные волосы подчеркивали бледность ее лица, бледность, которая наводила на мысль о чахотке, хотя он и знал, что она здорова.

— Пожалуйста, не целуй меня, — тихо сказала она. — Все утро я слушала грязные шутки насчет любви, лучше помассируй мне ноги — они ноют.

Он швырнул куда попало портфель и пакет, стал на колени перед кроватью и принялся растирать ей ноги от колена до щиколотки.

— Спасибо, ты милый, но, надеюсь, ты не пристрастишься к уходу за больными. А то с вашим братом никогда ничего не знаешь наперед. И прошу тебя, — добавила она еще тише, — давай останемся дома: я слишком устала, чтобы тащиться куда-то обедать. То, что я ухожу в каждый обеденный перерыв, и так уже расценивается нашей заведующей как антиобщественный поступок.

— Черт те что! Почему ты не покончишь с этой пыткой? Что за свиньи!

— Ты кого имеешь в виду — начальников или наших девчонок?

— Конечно, начальников. А то, что ты называешь грязными шутками, всего лишь выражение тех един-

ственных радостей, которые доступны вашим девчонкам. Твои буржуазные уши...

— Уши у меня вовсе не буржуазные, а феодальные, раз уж ты настаиваешь на социологическом определении моих ушей.

— Феодализм не выдержал натиска буржуазии, он вступил в брак с промышленностью, и она его обуржуазила. Ты не различаешь, что в тебе типичное, а что случайное; так упорно не желать расстаться со своей фамилией, хотя ты так мало ее ценишь, — скажи, это ли не проявление буржуазного идеализма, и притом позднего? Разве тебя не тешит сознание того, что в ближайшем будущем ты перед богом и людьми — как принято говорить в вашей среде — станешь Мари Мюллер?

— У тебя хорошие руки, — сказала она. — Но когда ты сможешь прокормить трудом этих рук жену и детей?

— Как только ты подсчитаешь, сколько денег у нас останется после уплаты налогов, если ты не бросишь работу.

Она рывком приподнялась на кровати и затараторила, как школьница, отвечающая урок:

— Твоя стипендия, заметь, повышенная, составляет двести сорок три марки. Как помощнику ассистента, тебе причитается двести марок, но семьдесят пять из них вычитают, поскольку ты еще учишься. Таким образом, у тебя должно оставаться триста шестьдесят восемь, но заработок твоего отца семьсот десять марок, то есть на двести шестьдесят больше суммы, не облагаемой налогом, а ты единственный сын, следовательно, из твоих денег вычитается еще половина — сто тридцать марок, и выходит, что ты работаешь помощником ассистента задаром, и в итоге наличными остается двести тридцать восемь. Как только мы поженимся, из твоего заработка будет вычитаться половина суммы, превышающей триста марок, то есть две марки пятнадцать пфеннигов. Вот и получится, что ты, как глава семьи, реально принесешь в дом двести тридцать марок восемьдесят пять пфеннигов.

— Поздравляю, ты все великолепно подсчитала.

— Во всяком случае, ясно одно: на эту скотину Шмека ты работаешь бесплатно.

Он перестал массировать ее ногу.

— «Скотину Шмека», ты-то почему так говоришь?

Она взглянула на него и села, опустив ноги с кровати; он пододвинул ей свои шлепанцы.

— Что у тебя произошло со Шмеком? Что случилось? Да перестань возиться с моими ногами. Ну, говори! Что такое?

— Подожди минутку.

Он поднял с пола портфель и пакет и положил их на кровать рядом с Мари, вынул из верхнего кармана куртки две оставшиеся сигареты, прикурил одну, протянул ее Мари, затем закурил сам, направился к книжной полке, вытащил свой дневник — толстую школьную тетрадь, стоявшую между томиками Кьеркегора и Коцебу, и уселся на полу у ног Мари.

— Послушай, — начал он. — Вот: тринадцатого декабря. Когда я гулял с Мари по парку, мне пришла мысль написать социологическое исследование грубошерстного пальто.

— Да, — сказала Мари, — ты мне тут же об этом рассказал и, наверное, помнишь мои возражения.

— Конечно, помню, — он еще полистал дневник. — Слушай: второе января. Приступил к изучению материалов. Наброски. Мысли. Посетил магазин Майера, надеялся просмотреть картотеку его клиентов, но из этого ничего не получилось... Дальше январь, февраль, каждый день записи о ходе работы.

— Ну да, а в конце февраля ты мне продиктовал первые тридцать страниц.

— А вот то, что я ищу, — первое марта. Визит к Шмеку, которому я показал первые страницы моей работы и даже прочел вслух отдельные места. Шмек попросил меня оставить ему рукопись, чтобы он мог на досуге ее просмотреть...

— Отлично помню, а на следующий день ты уехал к себе домой.

— Ну да, а потом в Англию, вернулся вчера, а сегодня первая лекция Шмека; и слушали ее все с таким

интересом, с таким напряжением, с таким восторгом, как никогда, — ведь тема была настолько новой, настолько необычной, во всяком случае, для всех остальных. А теперь я прошу тебя угадать, что это была за тема? Ну, угадай, моя дорогая баронесса!

— Если ты меня еще раз назовешь баронессой, то я назову тебя... — Мари улыбнулась. — Нет, не бойся, я так тебя называть не буду, даже если ты будешь называть меня баронессой. Скажи, тебе было бы обидно, если бы я тебя так назвала?

— Если ты — нет. Ты можешь называть меня, как хочешь, — сказал он тихо. — Но не думай, что так уж приятно, когда за твоей спиной шепчут, когда на доске в аудитории пишут: «Рудольф — рабочее отродье». Я — редкость, я — живое чудо, я — один из тех, кого бывает пять на сто, пятьдесят на тысячу, — чем больше число, тем фантастичней соотношение, я из тех, кого бывает всего пять тысяч на сто тысяч; я и в самом деле сын рабочего, который учится в университете в Западной Германии. А в университетах Восточной Германии все наоборот, из ста студентов там девяносто пять — дети рабочих. Там я был бы до смешного повседневным явлением, а здесь я знаменитый пример, которым козыряют в спорах, доказательство для обеих сторон — настоящий, подлинный, «всамделишный» сын рабочего — и даже способный, очень способный... Но ты ведь так и не попыталась отгадать, что сегодня клеймил Шмек.

— Может быть, телевидение?

Мюллер рассмеялся.

— Настоящие снобы теперь за телевидение.

— Нет, — сказала Мари и погасила сигарету о пепельницу, которую Мюллер держал в руке, — нет, не мог же он заняться социологией грубошерстного пальто?

— А то чем же? — тихо спросил Рудольф. — Чем же еще?..

— Нет, — повторила Мари, — этого он не мог сделать.

— Но тем не менее он это сделал, и в его лекции я узнал фразы, которые помню, помню из-за той

радости, которую испытывал, когда, наконец, сформулировал...

— Слишком радовался...

— Да, подумать только, он шпарил целые абзацы из моей работы.

Мюллер поднялся с полу и стал ходить взад-вперед по комнате.

— Сама знаешь, как мучаешься, стараешься понять, себя ли цитируешь или кого-то другого, вот услышишь что-то, что как будто уже слышал или даже сам говорил, и никак не можешь вспомнить, в самом ли деле ты это сам говорил или только думал, а может, вовсе кто-то другой при тебе говорил или ты читал это... Одним словом, сходишь с ума, потому что память в этих случаях вдруг отказывается...

— Да, — сказала Мари, — вот так я терзалась, вспоминая, пила ли я воду перед святым причастием. Мне все казалось, что пила — оттого, что раньше я уже столько раз пила натошак воду — тысячу раз пила, — а перед причастием я вовсе и не пила....

— Когда вот так ни на чем не можешь остановиться, очень важен дневник.

— Знаешь, ты мог бы не ломать голову над этим вопросом: совершенно ясно, что Шмек тебя обокрал.

— И тем самым угробил мою диссертацию.

— Господи, — сказала Мари; она встала с постели, положила руку Рудольфу на плечо и поцеловала его в шею, — господи, ты прав, он в самом деле перерезал у тебя жизненный нерв... А ты не можешь на него пожаловаться?

Мюллер рассмеялся.

— В университетах всего мира, от Массачусетса до Лима, от Геттингена или Оксфорда до Нагасаки, все разразятся дружным смехом, если некий Рудольф Мюллер, сын рабочего, начнет утверждать, будто Шмек его обокрал. Даже люди племени варрау язвительно усмехнутся, ибо и им известно, что мудрый белый человек, по имени Шмек, все знает про людские отношения. Но вот если выступит Шмек — а это будет неизбежным следствием моей жалобы —

и заявит, что его обокрал некий Мюллер, то он всех убедит.

— Его надо уничтожить, — сказала Мари.

— Наконец-то ты отказалась от буржуазного образа мыслей.

— Не понимаю, как ты еще можешь шутить.

— На это у меня есть причина, — сказал Мюллер и подошел к кровати; он взял пакет, положил на стол и начал его распаковывать, терпеливо распутывая бечевку и развязывая многочисленные узелки; это длилось так долго, что Мари рывком выдвинула ящик, вынула из него нож и молча подала Рудольфу.

— Уничтожить, да, это мысль, — сказал Мюллер, — но я ни за что на свете не разрежу бечевку, это был бы удар прямо в сердце моей матери, которая всегда аккуратно развязывает и сматывает бечевочку, — она ведь может пригодиться. Когда мать приедет меня навестить, она непременно спросит у меня эту бечевку, и если я не смогу ее предъявить, решит, что наступил конец света.

Мари закрыла перочинный нож, спрятала его назад в ящик и оперлась о плечо Рудольфа — он уже развернул пакет и аккуратно складывал оберточную бумагу.

— Ты мне так и не объяснил, как ты все еще можешь шутить, — сказала она. — То, что сделал с тобой Шмек, — это предел подлости и коварства, а ведь он еще собирался назначить тебя своим ассистентом и предсказывал тебе блестящее будущее.

— Ну вот и готово, — сказал Мюллер. — Так ты в самом деле хочешь знать почему?

Она кивнула:

— Скажи.

Он положил посылку на стол и поцеловал Мари.

— Не будь тебя, — пробормотал он, — я бы сделал невесть что, клянусь!

— А ты все равно сделай, — тихо сказала она.

— Что?

— Сделай ему что-нибудь плохое, — сказала Мари, — я тебе помогу.

— Что же мне сделать? В самом деле уничтожить его?

— Нанеси ему какое-нибудь физическое увечье — моральными средствами тебе его не одолеть. Уничтожь хоть наполовину.

— Как ты говоришь?

— Ну, может, просто избежь. Но сейчас давай поедим: я голодна, а через тридцать пять минут мне надо ехать назад.

— Я не уверен, что ты поедешь назад.

Мюллер осторожно снял еще один слой бумаги, развязал еще одну бечевку, которой была перехвачена картонка из-под обуви, взял записку, лежавшую на крышке («Кладите в посылку опись содержимого»), и, наконец, — Мари вздохнула — снял крышку. В картонке лежали кровавая колбаса, кусок сала, домашний бисквит, несколько пачек сигарет и пакетик глютамина. Мари взяла со стола записку и прочитала вслух:

— «Дорогой мальчик, я рада, что ты так задешево совершил такое далекое путешествие в Англию. Все же теперь в университетах кое-что делают для студентов. Когда приедешь к нам в гости, расскажешь про Лондон. Помни, что мы тобой очень гордимся. Итак, ты приступил теперь к диплому — я еще не могу в это поверить. Любящая тебя мама».

— Они и в самом деле гордятся мной, — сказал Мюллер.

— У них для этого есть все основания, — ответила Мари и убрала присланные продукты в шкафчик под книжной полкой, потом достала начатую пачку чая.

— Я спущусь на минутку, заварю чай.

9

— Странно, — сказала Мари, — когда я сегодня прислонила свой велосипед к изгороди, я уже знала, что после обеденного перерыва не вернусь в наш синтетический ад; такие предчувствия ведь бывают. Как-то, придя из школы, я, как всегда, бросила свой велосипед у живой изгороди; он обычно наполовину тонул в ней, опрокидывался, руль цеплялся за какую-

нибудь толстую ветку, переднее колесо оказывалось в воздухе, — так вот, в тот раз я уже знала, что никогда больше не пойду в школу. Не то чтобы мне просто надоело ходить в школу, это было что-то гораздо более сильное, я вдруг поняла, что мне невозможно еще хоть раз пойти в школу; отец никак не мог этого взять в толк, потому что до аттестата зрелости оставался ровно месяц, но тогда я ему сказала: «Ты слышал когда-нибудь о грехе обжорства?» — «Слыхал! — ответил он мне. — Но ведь ты не обжиралась школой». — «Нет, это я привела только как пример — вот если ты выпил на глоток больше кофе или съел на кусочек больше пирога, чем ты должен был съесть или выпить, — разве это не было бы обжорством?» — «Это верно, — согласился он, — и я даже могу себе представить что-то вроде интеллектуального обжорства, однако...» Но тут я его перебила: «Просто в меня больше ничего не лезет, я чувствую себя как откормленная гусыня». — «Жаль, — сказал отец, — что это случилось с тобой как раз за месяц до экзаменов на аттестат зрелости. Ведь аттестат — такая нужная вещь». — «Для чего? — спросила я. — Может, для поступления в университет?» — «Да», — сказал он. «Нет, — сказала я. — Уж если я пойду на фабрику, то на настоящую, и всерьез». Так я и сделала. Тебе неприятно это слушать?

— Да, — сказал Мюллер, — очень неприятно, когда человек выбрасывает то, о чем несметное число людей мечтает и тоскует. Можно смеяться и над платьями, пренебрегать ими, если они висят у тебя в шкафу или ты можешь в любую минуту их получить, можно смеяться над всем, что тебе кажется от рождения само собой разумеющимся.

— Да я вовсе не смеялась над этим и этим не пренебрегала, мне и в самом деле больше хотелось пойти работать на настоящую фабрику, чем учиться в университете.

— Тебе я верю, — сказал он, — тебе я всегда верю — даже, когда уверяешь, что ты католичка.

— Кстати, вчера я тоже получила из дома посылку, — сказала Мари. — Угадай-ка, что там было.

— Кровяная колбаса, сало, домашний бисквит, сигареты, — сказал Мюллер. — Но глутамина там не было. И, конечно, ты разрежала бечевку ножницами, бумагу скомкала и...

— Точно! — рассмеялась Мари. — Абсолютно точно. Ты только забыл...

— Нет, я ничего не забыл. Просто ты меня перебила. А то бы я сказал, что ты тут же откусила кусок колбасы, кусок бисквита и закурила сигарету.

— Ну, а теперь пошли в кино. А потом мы уьем Шмека, только не до смерти. Сегодня!

— Сегодня?

— Непременно сегодня. Все, что считаешь правильным, надо делать тут же, и жена должна быть мужу опорой в его борьбе.

10

Когда они вышли из кино, уже совсем стемнело. Сторож стоянки велосипедов был зол, как собака, потому что стоянка опустела и он охранял только грязный, разболтанный велосипед Мари. Старик сторож, в длинном, до пят пальто, ходил взад-вперед, потирая от холода руки, и бормотал ругательства.

— Дай ему на чай, — тихо сказала Мари и в смущении осталась стоять у столбика с цепью, которой была отгорожена стоянка.

— Мои принципы запрещают мне давать на чай, за исключением тех случаев, когда чаевые предусмотрены официально, это оскорбление человеческого достоинства.

— А может быть, у тебя превратное представление о человеческом достоинстве: мой предок, первый Шлимм, лет семьсот назад получил баронский титул и земли в качестве чаевых.

— А может быть, именно поэтому ты так мало ценишь человеческое достоинство. О господи! — вздохнул он и, понизив голос, добавил: — Сколько надо дать в таком случае?

— Я думаю, пфеннигов двадцать или тридцать или сигарет на эту сумму. Ну, прошу тебя, иди помоги своей помощнице, мне ужасно неловко.

Мюллер нерешительно подошел к сторожу, держа в руке номерок, словно документ, в подлинности которого не уверен, а когда сторож повернул к нему свое злое лицо, он вытащил из кармана пачку сигарет и сказал:

— Мне очень жаль, что мы несколько задержались.

Старик взял у него всю пачку, сунул в карман пальто, с молчаливым пренебрежением махнул рукой в сторону велосипеда и двинулся мимо Мари к трамвайной остановке.

— Все-таки в любви к худому мужчине есть одно преимущество: его можно возить сзади себя на багажнике, — сказала Мари.

Лавируя между замершими перед светофором машинами, она выехала к самому перекрестку.

— Осторожно, Мюллер, не поцарапай ногой лак на крыльях. Владельцы машин этого терпеть не могут. Они скорее согласятся, чтобы царапали их жен, чем их автомобили.

Владелец стоящей рядом с ними серой машины опустил стекло, и тогда Мари громко сказала:

— На твоём месте я написала бы социологическое исследование легковых автомобилей. Езда на машинах превратилась в школу ловкачества, нет хуже этих так называемых рыцарей руля. А от их судорожной «демократической» приветливости просто тошнит. Это чистое лицемерие: за самые элементарные вещи они требуют, чтобы им чуть ли не памятники ставили.

— Да, — подхватил Мюллер, — и самое гнусное в них то, что они уверены, будто выглядят иначе, нежели все остальные, а на самом-то деле...

Владелец машины быстро поднял стекло.

— Мари, желтый свет.

Мари нажала на педали и прямо перед носом серой машины повернула направо, а Мюллер исправно вытянул правую руку.

— У меня появилась прекрасная помощница, — сказал он, когда они въехали в темный переулок.

— Помощница, — повторила Мари, — это прибли-

зительный перевод латинского *adjutorium*. В этом слове есть еще оттенок радости. Так где же он живет?

— Моммзенштрассе, тридцать семь.

— Слава богу, он живет на такой улице, название которой его бесит всякий раз, когда он его читает, произносит, пишет. Надеюсь, что это происходит не реже трех раз на день. Небось ненавидит Моммзена...

— До смерти ненавидит.

— Ну и пусть живет на Моммзенштрассе. Который час?

— Половина восьмого.

— Осталось четверть часа.

Они въехали в еще более темный переулок, который вел прямо в парк. Она затормозила. Мюллер спрыгнул и помог перетащить велосипед через ограду. Они прошли несколько шагов по темной аллее, остановились у куста, и Мари слегка толкнула машину на упругие ветви, они поддались под тяжестью, велосипед почти утонул в них, но зацепился за какую-то ветку потолще и повис.

— Совсем как дома, — сказала Мари. — Для стоянки велосипедов лучше кустов ничего не придумаешь.

Мюллер обнял ее, поцеловал в шею. Мари прошептала:

— Не слишком ли я худа для жены?

— Молчи, помощница, — сказал он.

— Ты ужасно боишься. Я и не знала, что можно ощутить, как у кого-то бьется сердце. Скажи, ты правда так боишься?

— Конечно, — ответил он. — Это ведь мое первое нападение. И я вообще никак не могу поверить, что мы здесь притаились, чтобы заманить Шмека в ловушку и избить его. Никак не могу поверить, что все это происходит в действительности.

— Это потому, что ты веришь в духовное оружие, в прогресс и тому подобное — за такие ошибки приходится платить; если и существовало когда-либо духовное оружие, то сегодня оно уже никуда не годится.

— Пойми же, — прошептал он, — какой процесс идет в моем сознании: я ведь стою здесь.

— Бедняги, вы все становитесь шизофрениками. Мне хотелось бы быть не такой худой — я где-то прочла, что шизоидам вредно иметь дело с худыми женщинами.

— Твои волосы в самом деле пахнут этим мерзким искусственным волокном, а руки стали шершавыми.

— Да, — сказала она тихо, — я как героиня из современного романа: баронесса, которая порвала со своим классом и решила жить настоящей, честной жизнью. Который час?

— Почти три четверти.

— Тогда он скоро появится. Мне так нравится, что мы ловим его на удочку собственного тщеславия. Ты бы только послушал его интонацию, когда он выступал по радио: «Размеренность, ритм — это мой жизненный принцип. В четверть восьмого — легкий ужин: еды почти никакой, но непременно крепкий чай, а без четверти восемь — ежедневная обязательная прогулка в городском парке...» Так ты обдумал план действий?

— Да, — ответил Мюллер, — как только он появится, ты бросишь велосипед поперек аллеи, а когда я свистну, побежишь и ляжешь рядом с велосипедом. Он, конечно, бросится к тебе.

— А ты тогда выскочишь из засады и как следует его отлупишь... Да так, чтобы он не сразу пришел в себя, а мы тем временем смоемся.

— Это звучит не слишком пристойно.

— Непристойно? Это тебе только кажется.

— А вдруг он позовет на помощь? Вдруг мне с ним не справиться, ведь он весит по крайней мере на центнер больше, чем я. И, кроме того, как я уже тебе сказал, слово «засада» мне не по душе.

— Ну, конечно, у вас свои представления о чести — поднятое забрало, открытый бой и тому подобное, а в результате вы всегда оказываетесь в дураках. Не забывай, что я тоже тебе помогу и буду лупить его изо всех сил. А в крайнем случае мы бросим велосипед и убежим.

— Чтобы оставить вещественное доказательство? Я думаю, это единственный велосипед в городе, который нельзя не узнать.

— Твое сердце бьется все сильнее, все громче. Ты, видно, действительно здорово струсил.

— А ты разве не боишься?

— Конечно, боюсь. Но я твердо знаю, что наше дело правое и что это для нас единственная возможность свершить правосудие — ведь весь мир, вплоть до племени ботокудов, будет на его стороне.

— Черт возьми! — прорешпал Мюллер. — Вот он и в самом деле идет...

Мари выскочила на аллею, рывком вытянула из куста велосипед и положила его перед собой на землю. Мюллер наблюдал за Шмеком — без шляпы, в расстегнутом, развевающимся на ветру пальто, он спускался по переулку к парку.

— Господи! — вздохнул Мюллер. — Мы же забыли про пса, погляди только на этого зверя, овчарка величиной с теленка!

Мари подошла к Мюллеру и из-за его плеча наблюдала за Шмеком, который хрипловатым голосом позвал: «Сольвейг, Сольвейг!» — отстранил собаку, радостно скакавшую вокруг него, и, подняв с земли камень, швырнул его в кусты — камень упал метрах в десяти от Мюллера.

— Вот сука! — сказала Мари. — Теперь бессмысленно лезть в драку. Это же волк, а не собака, да еще натасканный на человека — сразу видно. Ну, теперь у нас, конечно, разовьются всякие там комплексы из-за того, что мы не довели дело до конца, но все равно затевать что-либо бессмысленно.

Она снова вышла на аллею, подняла велосипед и, тронув за рукав Мюллера, сказала:

— Ну, пошли, нам надо идти. Да что с тобой?

— Ничего, — ответил Мюллер, взяв Мари за руку. — Я даже не предполагал, до чего я его ненавижу.

Шмек стоял под фонарем и гладил свою овчарку, которая положила к его ногам принесенный из кустов камень; заметив, что какая-то пара вошла в круг света, падающий от фонаря, Шмек поднял глаза, потом

еще раз взглянул на собаку, а затем снова на молодых людей и вдруг широко улыбнулся, распростер руки и двинулся навстречу Мюллеру.

— Мюллер, — сказал он сердечно. — Дорогой мой Мюллер! Вот не ожидал встретить вас здесь...

Но Мюллеру удалось глядеть прямо в лицо Шмеку и вместе с тем как бы сквозь него, не встречаясь с ним взглядом. «Если я встречаюсь с ним глазами, я пропал, — думал он. — Задача не в том, чтобы делать вид, что его нет, он ведь есть, но я должен как бы уничтожить его своим взглядом». Шаг навстречу Шмеку, второй, третий, Мюллер почувствовал, как Мари вцепилась в его руку, он дышал все тяжелей и учащенней, будто поднимал все большую тяжесть.

— Мюллер! — крикнул Шмек. — Это ведь вы? У вас что, совсем нет чувства юмора?

Остальное было уже легко. Просто идти своей дорогой, быстро, но не слишком. Они слышали, как Шмек еще раз громко крикнул «Мюллер!». Потом голос его становился все тише и тише. «Мюллер, Мюллер, Мюллер...», и, наконец, они завернули за угол.

Вдруг Мари так тяжело вздохнула, что он испугался, он повернулся к ней и увидел, что она плачет. Он взял у нее велосипед, прислонил его к ограде какого-то сада, смахнул указательным пальцем слезы с ее щек и обнял ее за плечи.

— Мари, — сказал он тихо. — Ты что?

— Я боюсь тебя, — ответила она. — Ты не только напал на него, ты его уничтожил. Я теперь боюсь, что Шмек вечно будет бродить по этому жалкому парку, бормоча: «Мюллер, Мюллер, Мюллер...» Как в ночном кошмаре. Дух Шмека в сопровождении адского пса бродит меж мокрых кустов, он оброс бородой, такой длинной, что она волочится за ним, как обтрепанный пояс, и все шепчет: «Мюллер, Мюллер, Мюллер». Может быть, мне сбегать поглядеть, как он там?

— Нет, — сказал Мюллер, — не надо бегать. Он чувствует себя недурно. Но если ты ему так сочувствуешь — подари ему ко дню рожденья грубошерст-

ное пальто. Ты даже не можешь измерить, какое зло он мне причинил. Он превратил меня в этакого вундеркинда из рабочих, он мне покровительствовал, так, что ли, это называется? И, видимо, ожидал получить мое «грубошерстное пальто» в виде дани, а я ему не дал, во всяком случае, добровольно. Завтра утром, едва зайдя в профессорскую, он скажет своему первому ассистенту Вегелоту: «Да, кстати, Мюллер все же перешел в реакционный лагерь профессора Ливорно, он звонил мне вчера вечером и сказал, что намерен выйти из моего семинара». Потом старательно прикроет дверь и, подойдя вплотную к Вегелоту, добавит: «Жаль мне Мюллера, очень способный студент, однако его тезисы к дипломной работе оказались на редкость беспомощными, ниже всякой критики. Этим людям такие вещи даются особенно трудно, потому что им нужно бороться не только с окружающим миром, но и со средой, из которой они вышли. А жаль!» И он выйдет из профессорской, покусывая губы.

— Ты уверен, что это будет именно так? — спросила Мари.

— Абсолютно. Пошли домой, Мари, Шмек не стоит слез.

— Я плакала не о Шмеке.

— Уж не обо мне ли?

— Да, ты такой невысказанно храбрый.

— Это уж в самом деле звучит как строчка из самого современного романа. Так пошли домой?

— Ты не придешь в ужас, если я захочу хоть раз в день, буквально один раз съесть что-нибудь горячее?

— Не приду, — рассмеялся Мюллер, — вези меня в ближайший ресторан.

— Давай лучше пойдем пешком. В эти часы здесь всегда много полицейских: близость парка, мало фонарей, весенний воздух, попытки изнасилования. А штраф за проезд на багажнике равняется стоимости двух отличных гуляшей.

Мюллер повел велосипед. Они медленно двинулись вниз по улице вдоль городского парка. Когда они

отошли от фонаря, то увидели полицейского, прислонившегося к стволу дерева у ограды.

— Вот видишь, — сказала Мари так громко, что полицейский мог услышать. — Вот мы уже и сэкономили две марки, но как только отойдем немного подальше, сразу прыгай на багажник.

Едва они завернули за угол, как Мари села на велосипед и уперлась ногой в тротуар, чтобы дать Мюллеру сесть. Она быстро покатила вниз и, не замедляя хода, обернулась и крикнула:

— Что ты теперь будешь делать?

— Что? — переспросил Мюллер.

— Я спрашиваю, что ты будешь делать?

— Сейчас или вообще?

— И сейчас и вообще.

— Сейчас я еду с тобой есть гуляш, а вообще завтра я пойду к профессору Ливорно, запишусь к нему в семинар и предложу тему для диплома.

— Какую?

— Критический разбор работ профессора Шмека.

Мари подъехала к тротуару, остановилась и, повернувшись к Мюллеру, переспросила:

— Какую, какую?

— Да я же сказал: «Критический разбор сочинений профессора Шмека». Я знаю их вдоль и поперек, чуть ли не наизусть, а ненависть — хорошие чернила.

— А любовь?

— А любовь — это наихудшие чернила из всех существующих, — сказал Мюллер, — поехали, помощница!

ГАЗЕТЧИК

Правда превыше всего: иногда я прогуливал школу; извиниться за опоздание было для меня невыносимо унижительно, и я предпочитал жертвовать шестью часами занятий, нежели унизиться из-за четырех минут опоздания. Случалось, что запоздавшие учителя ловили меня на углу Гейнрихштрассе и Перленграбена, но чаще всего мне удавалось благопо-

лучно улизнуть; я пересекал Перленграбен и скрывался в Шпиценгассе, за воротами фабрики мороженого. Там грузили в светло-зеленые конные фургоны брикеты льда. По спиральному железному желобу брикеты со скрежетом и хрустом скользили вниз. Возницы в кожаных фартуках подхватывали их крючьями и рядами укладывали в фургон. На угловом доме еще с наполеоновских времен сохранилась надпись: Rue traverse des Dentelles, а на замурованных окнах маслом были написаны портреты Маркса и Энгельса; рядом с ними — плакаты: на ярко-красном фоне черные сжатые кулаки, по цоколю дома масляной краской было выведено: «Рот Фронт! Рот Фронт!»

Возницы приветливо здоровались со мной: неужели они меня и в самом деле так хорошо знали? Пристыженный, я опускал голову и обшаривал левой рукой все левые карманы, а правой — все правые: семнадцать пфеннигов! Этого было недостаточно, чтобы пойти в «Кинотеатр для всех», который за тридцать пфеннигов в половине одиннадцатого утра распахивал для всех свои двери. А было всего десять минут девятого. Я кивал в ответ возницам и быстро бежал вверх по переулку, потом вниз по Веберштрассе, сворачивал на Матиасштрассе и оказывался на Сенном рынке; здесь в рыночной толчее я чувствовал себя в безопасности. Капуста темно-зеленая, светло-зеленая, фиолетовая — кто все это съест?

Огрубевшие руки торговков, их красные от утреннего мороза щеки свидетельствовали о том, что Деметра не стареет — рубщицы мяса с улыбками Венеры, выглядывавшие из-за гор кровавых туш, казались нарисованными!

Рынок принадлежал женщинам. Мужчины допускались здесь только на несерьезные амплуа: в качестве зазывал — полушутов, полумошенников, или же в качестве полицейских, которые были слишком усаты, чтобы их можно было принимать всерьез, — уж очень они были похожи на персонажей балаганных представлений; эти щелкунчики, от которых с раннего утра несло жареной картошкой, не могли быть

взаправдашними. Среди представителей мужского пола был и тщедушный человек, этакий дергающийся паяц, который торговал перочинными ножичками по грошу за штуку. Этот тип вываливал на шерстяное одеяло целую грудку ножичков — красных, зеленых, желтых и синих, потом выбирал красный, открывал его и показывал столпившимся вокруг зрителям.

— Этим ножичком, господа, вы можете заколоть свинью, но с тем же успехом можете чистить им ногти, если вы настолько честолюбивы, что позволяете себе такую роскошь. Можете сделать им бутерброд к завтраку, но кому нынче по средствам завтраки? Вы можете вырезать им подметки, чтобы починить воскресные туфельки вашей невесты, и, наконец, если ваша невеста вас бросит или вам осточертеет сидеть без работы, вы можете этим ножичком положить конец вашей брэнной жизни, но, с другой стороны, этим же ножичком вы можете разрезать уже накиннутую на шею петлю...

Смех, несколько грошей падает на одеяло, несколько ножичков, причем только красные, переходят к новым владельцам.

Девяти еще не было; меня еще держало в своей власти женское царство рынка, но уже тянуло в мужской упорядоченный мир торговых улиц; какая огромная разница между овощным ларьком на рынке и мастерской часовщика! Пучки морковки и петрушки, еще в свежей земле, золотистый лук, а там — часы: «точность гарантируется до одной секунды». Медные колесики, медные рычажки — под стеклянным колпаком движется сложный механизм, гордо отмеряющий секунды истории: 9 часов 33 минуты 16 секунд, год 1932-й, месяц ноябрь, день — я не хотел знать, какой день, я отворачивался и глядел на соседнюю витрину: хирургические и зубоорачебные инструменты; все здесь никелированное, острое, надежное, сулящее одновременно облегчение и страдание.

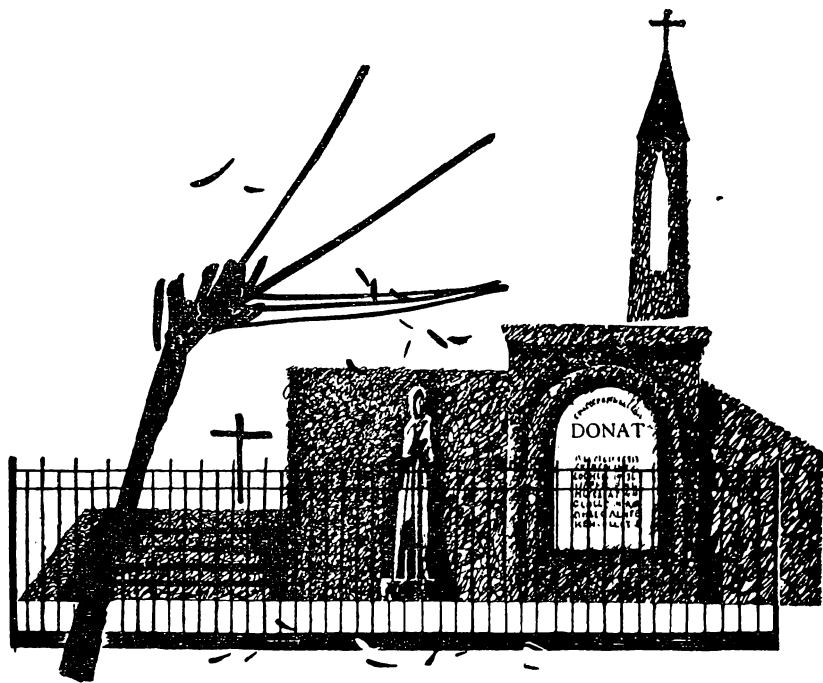
Универсальный магазин Тица предлагал новые развлечения. Сонм продавщиц, хотя и был подвла-

стен франтоватым администраторам-мужчинам, все же брал верх над ними; что толку брюзгливо командовать целыми отделами, если можно с улыбкой распоряжаться губной помадой и пудрой? Улыбающийся подданный всегда берет верх над хмурым властелином. Как хихикали девчонки-продавщицы за спиной суетящегося шефа! Кого мне напоминали все эти брюзгливые господа? Я пытался вспомнить лицо, на которое все они походили, тщетно пытался, пока, уподобляясь то зайцу, то кролику, шнырял между прилавками, в толпе покупателей. Имя человека, которое я искал, я услышал, когда снова выбрался на улицу.

«Фон Папен обещает стабилизацию...»

Эпилептически кривился рот газетчика, который когда-то кричал — я сам это слышал: «Брюнинг обещает стабилизацию!», а несколько месяцев спустя: «Гитлер обещает стабилизацию!» Рот газетчика всегда кривился, он всегда что-то выкрикивал и сейчас еще выкрикивает. В свое время он вопил: «Победа на западе!» и «Ни на шаг не отступим на востоке!» или «Слава фюреру!» и «Нацистские вожди понесли заслуженное наказание!» Вчера он кричал: «Эрхард помирился с канцлером!» Что же он будет кричать завтра, когда точный часовой механизм под стеклянным колпаком, гордо отмеряющий секунды истории, покажет 9 часов 33 минуты 16 секунд, год 1961-й, месяц июнь, день... дня я не хочу знать.

Девяти все еще не было. Я не вынес тяжести времени, которое нужно было как-то убить, и пошел, минуя главную улицу, через Блаубах, Ротгербербах, по Панталеонштрассе, мимо Зибенбургена, свернул на Картойзергассе, мимо церкви св. Екатерины, по Сильванштрассе, Альтебургерштрассе до Убиринга, где мы жили; перед матерью мне не надо было унижаться, она только покачала головой, кивнула мне и принялась молоть кофе; словно в благодатную молитву, углубились мы оба в молчание.



РАДИОПЬЕСЫ



ЧАС ОЖИДАНИЯ



1

Тихий закуток перед окошком камеры хранения на большом вокзале. Время от времени сюда доносится приглушенный грохот составов, перестук колес, далекий голос диктора, объявляющего о прибытии или отправлении поездов, топот пассажиров. То и дело со скрипом отодвигается и задвигается заслонка окошечка камеры хранения.

Носильщик. Так я сдаю ваши чемоданы?

Хрантокс. Подождите.

Носильщик. Еще не решили?..

Хрантокс. Нет.

Носильщик. Ваш поезд отходит в тринадцать девять, через час с небольшим. Придется ждать, никуда не денешься.

Хрантокс. Я не предполагал, что здесь будет пересадка. Я поехал бы другим поездом. Вот ведь какая неприятность!..

Носильщик. Зря огорчаетесь. До Афин не меньше трех суток пути, а тут всего час ожидания.

Хрантокс. Да дело не в этом часе, а в этом городе.

Носильщик. А вы осмотрите его. В нашем городе есть на что посмотреть: и старинные развалины, и новые здания, и церкви, и памятники, да и люди у нас славные... Даже обидно, право слово (устало), а меня теперь нелегко обидеть.

Хрантокс. Я знаю этот город.

Носильщик. Вы здесь бывали?

Хрантокс. Жил.

Носильщик. И долго?

Хрантокс. Семнадцать лет.

Носильщик. Да что вы!

Хрантокс. Я жил здесь семнадцать лет. Вы что, мне не верите?

Носильщик. Да нет, я вам верю. Но как-то уж больно неправдоподобно. Семнадцать лет — это не шутка, а вам... (прикидывает) больше... больше сорока никак не дашь.

Хрантокс. Почти угадали — мне сорок три. А почему бы я не мог прожить тут семнадцать лет?

Носильщик. У вас вид иностранца.

Хрантокс. Я и есть иностранец.

Носильщик. Вы чисто говорите по-немецки, и даже, я бы сказал... в общем...

Хрантокс. Что в общем?

Носильщик. Я хочу сказать, что говорите вы вроде как на нашем диалекте, но это, видно, мне только кажется.

Хрантокс. А может, и не кажется.

Носильщик. Ну так как, будете сдавать вещи или подождете на перроне?

Хрантокс. Охотнее всего я бы сел в первый попавшийся поезд, доехал до следующей станции и там бы ждал поезда на Афины.

Носильщик. У вас с нашим городом связаны такие дурные воспоминания?

Хрантокс. И дурные и хорошие.

Носильщик. Так думайте о хорошем.

Хрантокс (помолчав). Сейчас одиннадцать пятьдесят семь. Поезд в тринадцать девять. Ждать, значит, больше часа. (Чуть потеплевшим голосом.) Война здесь была?

Носильщик. Да. Двенадцать лет назад она кончилась. Последняя война. (Устало.) Они у меня все перепутались в голове.

Хрантокс. Я жил в такой дали, что знаю обо всем этом только понаслышке... бомбежки... голод... смерть... убийства... Здесь было много разрушено?

Носильщик. Дай бог... Но сейчас вы даже и следов не увидите. Вы на какой улице жили?

Хрантокс. На Софиенштрассе.

Носильщик. О, квартал богачей! Он мало пострадал. Возле Софиенпарка? Да?

Хрантокс. Парк еще существует?

Носильщик. Конечно, его даже расширили.

Хрантокс. Кафе и танцевальная площадка?..

Носильщик. Да... Может, хотите посмотреть? (Хрантокс молчит, и носильщик продолжает после небольшой паузы.) Вот уже двенадцать лет прошло, как кончилась война, а длилась она шесть лет. Вы говорите, что жили у нас семнадцать лет. Когда же это было?

Хрантокс. Я тут родился.

Носильщик. А, понятно, вы эмигрировали?

Хрантокс. Да.

Носильщик. Вы... еврей?

Хрантокс. Нет.

Носильщик. Тогда, значит... политика?

Хрантокс. Тоже нет.

Носильщик. Тогда... извините... Но почему же вы уехали?

Хрантокс. Я иногда и сам себя спрашиваю: почему? Столько всего навалилось... Может быть, из-за одной девушки.

Носильщик. Несчастливая любовь?

Хрантокс. Да нет. (Помолчав.) Вы не понимаете?

Носильщик. Нет. Раз вы родились на Софиенштрассе, значит ваш отец был человек состоятельный...

Хрантокс. Да, мой отец был богат.

Носильщик. Многие уезжают потому, что их отцы бедны.

Хрантокс. Верно, но мой был богат.

Носильщик. Тогда я ничего не понимаю.

Хрантокс. В то время мне все казалось абсолютно ясным, но теперь я не могу в точности припомнить, почему же я все-таки уехал... Наверное, просто захотелось уехать. Во всяком случае, какая-то причина, безусловно, была. Это произошло одним летним вечером... А может, просто захотелось уехать.

Носильщик. Но вы же сказали что-то о девушке?

Хрантокс. О девушке и о деньгах... Или о деньгах я не говорил? Я ведь взял с собой деньги.

Носильщик. Много?

Хрантокс. Да нет, не очень.

Носильщик. А она?

Хрантокс. Она любила меня. А я любил ее. Мой отец был богатый человек, и ее отец тоже.

Носильщик. Так... Так..

Хрантокс. Она была очень красивая, и я тоже был не урод.

Носильщик. Так, так... И вы вдруг уехали?

Хрантокс. Вдруг... И не из-за девушки, и не из-за денег...

Носильщик. А из-за чего?

Хрантокс. Да, знаете, все как-то сошлось одно к одному. Девушка, моя мать, летний вечер... (Устало, почти раздраженно.) Какого черта вы задаете мне вопросы, а я вам отвечаю? То, что я вам рассказываю, я никому никогда не рассказывал. Сколько вам платят за час?

Носильщик. Почасовая оплата зависит от того, что надо делать. Если работа тяжелая, то больше, если легкая, то меньше.

Хрантокс. Эта — легкая?

Носильщик. Не знаю. Во всяком случае, не очень трудная и интересная.

Хрантокс. Так. (Смеется.) Сколько же вы возьмете за час?

Носильщик. Пять марок не слишком дорого?

Хрантокс. Нет. Значит, договорились. Вы курите?

Носильщик. Курю.

Хрантокс. Возьмите. (Протягивает пачку сигарет, зажигает спичку.)

Носильщик. Какие чудные сигареты... А ничего! Америка?

Хрантокс. Да. Южная.

Носильщик. Вы там живете?

Хрантокс. Последние десять лет.

Носильщик. Неужели там не чувствовалось войны? Ни в чем?

Хрантокс. Ни в чем. Только слышал о ней. Иногда

читал какие-то сводки в газете. Впрочем, мало. Год... бомбежки... убийства... Там в одном деревенском трактире висела карта Европы, правда, совсем маленькая; трактирщик втыкал в нее флажки, передвигал их, но делал это весьма приблизительно — ошибиться в двести километров было для него сущим пустяком. На этой карте точка Варшавы была рядом с точками Москвы, Праги, Вены и Будапешта. Все эти города лепились друг к дружке, но все же было наглядно видно, что война распространяется, как эпидемия. Только эпидемия эта свирепствовала далеко-далеко... Нам она была не страшна. Вот быки — это да! Это было куда важнее. Цены на рогатый скот росли, даже кукуруза стала что-то стоить. Ведь до войны на нее не было никакого спроса, да что кукуруза, и кожа и солома — все принесило доллары.

Носильщик. А теперь, когда вы, наконец, попали сюда, вас приводит в отчаянье час ожидания?

Хрантокс. Охотнее всего я бы вообще проехал мимо этого города...

Носильщик. Вот вы упомянули вашу матушку и знакомую девушку. Они знали, что вы уехали навсегда?

Хрантокс. Я ни с кем об этом не говорил.

Носильщик. А вдруг они живы?

Хрантокс. Маловероятно. (Тихо.) Ведь столько людей погибло в войну, и вообще...

Носильщик (тоже тихо). Да, многие погибли и в войну, и вообще...

Хрантокс (тем же тоном). Вы... кого-нибудь потеряли?

Носильщик. Да, сына... Его убили.

Хрантокс. Пал смертью храбрых?

Носильщик. Так говорят. Я называю это иначе.

Хрантокс. Сколько ему было лет? Может, он мой ровесник?

Носильщик. Он был моложе. Теперь ему было бы сорок.

Хрантокс. Как моему младшему брату.

Носильщик. У вас были братья и сестры?

Хрантокс. Да, два брата и сестра, но...

Носильщик (тихо). Что?

Хрантокс. Но только об одном из них хотел бы я знать, жив ли он, — о Крумене, моем младшем брате. Из-за него я чуть было не остался.

Носильщик. Крумен?

Хрантокс. Да, мы его так звали. Собственно, его настоящее имя было Гериберт, но оно ему не нравилось... Крумен, Крумен... Он стоял у дверей, когда я уезжал, хотел сесть со мной в машину; обычно я брал его с собой, и мы мчались по шоссе на полной скорости, а он все подзадоривал меня: жми, жми! Но в тот вечер я не взял его с собой.

Носильщик. Сколько ему было лет?

Хрантокс. Четырнадцать, а мне — семнадцать.

Носильщик. Он плакал?

Хрантокс. Нет. Я сказал ему: «Нет, Крумен, сегодня я тебя не возьму... Сегодня — нет...»

Носильщик. У вас в семнадцать лет была своя машина?

Хрантокс. Нет, это была машина моей матери. (Тихо. Напряженно.) Где-то в Арденнах я пустил ее в пропасть. Она расплющилась в лепешку, весь красный лак осыпался.

Носильщик. Девушка, деньги, машина, брат.

Хрантокс. Да, да. Но не из-за всего этого я уехал, не из-за этого.

Носильщик. А из-за чего же?

Хрантокс (со смехом). Вы спрашиваете меня, словно отец, но мой отец так не спросил бы.

Носильщик (тихо). Неужели вам не хочется узнать, кто из ваших еще жив?

Хрантокс. Только о Крумене.

Носильщик. Ваши родители были живы, когда вы ушли из дома?

Хрантокс. Матери было тогда сорок пять. Теперь ей... семьдесят один год.

Носильщик. И вы не хотели бы повидаться с матерью?

Хрантокс. Нет.

Носильщик. Опомнитесь — это же ваша мать. Давайте я сдам багаж, и вы поедете к вашей матушке.

Хрантокс. Не будем спешить. Не будем спешить.

Носильщик. А отец?

Хрантокс. Ему было бы семьдесят три.

Носильщик. Было бы, было бы! Может, он еще жив и ждет, двадцать шесть лет ждет вас!

Хрантокс. Наверно, ждет, если жив.

Носильщик. Было бы... если... Я вас просто не понимаю!

Хрантокс. Может, потом поймете. Я все забыл... Все и всех. Даже Крумена, Анну, название города. Только когда объявили, что поезд прибывает сюда, я кое-что вспомнил.

Носильщик. Вам туго пришлось там, на чужбине?

Хрантокс. Нет, легко. Я, правда, много работал, но мне неизменно сопутствовала удача. У меня почти всегда были деньги, да и сейчас есть. Мне просто везло. За что бы я ни брался, все получалось. Я ни на что не претендовал, хотел быть простым официантом или простым батраком, но стоило мне поступить в ресторан, как меня тут же сделали администратором, стоило наняться батраком, как я стал управляющим, а став управляющим, я вскоре и сам приобрел небольшую ферму. Кстати, носильщиком я тоже был, носильщиком и рассыльным, как и вы, правда, только один день...

Носильщик. Вы в самом деле были носильщиком?

Хрантокс. Да, но только один день. Я обслужил только трех клиентов. Для первого я отнес на почту заказное письмо и, вернувшись в зал ожидания, вручил ему квитанцию; второму я поднес к поезду чемодан, сумку и коробку с ботинками. Третий велел мне позвонить какой-то даме, по имени Зейла, изменить голос, назваться Гарри и попросить у этой Зейлы свидания. Зейла назначила время, но на свидание я не пошел, а господин этот нанял меня в слуги, потом я стал его секретарем и даже другом, но мне и это вскоре надоело, и я ушел от него. Жили мы тогда в поместье, где все разговаривали друг с другом так, словно они выучили по какой-то книге, как люди должны друг с другом разговаривать. В то время я еще иногда вспоминал о доме.

Носильщик. Подумайте о ваших родителях. Ох, не легко быть отцом или матерью! Ох, нелегко!..

Хрантокс. А сыном быть легче? А братом? Крумену еще не исполнилось пятнадцати, когда я ушел. Мне было семнадцать, Анне — шестнадцать. (Тихо.) Скажите, главное городское кладбище, то, что за городом, еще существует?

Носильщик. Существует.

Хрантокс. Оно все такое же, как было?

Носильщик. То есть как такое же?.. Там теперь во много раз больше покойников. Вы хотите поехать на кладбище?

Хрантокс. Да. Сдайте багаж. Мы возьмем такси.

Носильщик. Возьмем?

Хрантокс. Да. Я поехал бы вместе с вами — не хочу быть там один.

Носильщик. Но я ведь в униформе. Как же мне ехать?

Хрантокс. Послушайте, разве я вас не нанял?

Носильщик. Наняли. Значит, мне ехать с вами по долгу службы?

Хрантокс. Само собой, а как же еще? Пошли.

Носильщик. Вы настаиваете?

Хрантокс. Да, настаиваю.

Носильщик. Ладно, пошли.

Их удаляющиеся шаги заглушаются грохотом поезда, потом, когда грохот стихает, шаги снова доносятся отчетливей и вдруг затихают — Хрантокс и носильщик остановились.

II

Уличный шум. Рокот автомобильного мотора.

Носильщик. Почему вы прежде всего решили ехать на кладбище?

Хрантокс. Потому что кладбище — самое надежное справочное бюро, во всяком случае для тех, кто жил на Софиенштрассе. Там на них заведена каменная адресная книга, а визитные карточки из белого мрамора приделаны к памятникам у входа в склепы. (Шоферу.) Пожалуйста, не гоните так.

Шофер. Можно и помедленней.

Хрантокс. В самом деле много понастроили, и все-таки город мало изменился. Видите вон то здание? Я ходил туда шесть лет.

Носильщик. Это гимназия имени Гёте. Мой парень тоже там учился и был в числе лучших. Хотел стать врачом, и получился бы из него отличный врач...

Хрантокс. Он какого года рождения?

Носильщик. Семнадцатого.

Хрантокс. Крумен тоже с семнадцатого и тоже учился в гётевской гимназии. Как звали вашего сына?

Носильщик. Бруно... Бруно Планер. А как ваша фамилия?

Хрантокс. Теперь моя фамилия Хрантокс, но прежде была Донат. Нет, я никогда не слышал имени вашего сына от Крумена.

Носильщик. Донат... Софиенштрассе... Значит, ваш отец был очень богат.

Хрантокс. Да, он был очень богат. А ваш сын никогда не говорил о Крумене?

Носильщик. Нет. Он никогда не упоминал фамилии Донат. Он приводил к нам много своих друзей, но Крумен... Донат... Гериберт... Нет, этих имен он не называл. Вот мы и подъехали к кладбищу. А моего мальчика так и не похоронили, он остался лежать где-то под Ленинградом, они его бросили. А нам переслали недописанное письмо.

Голос Бруно (на это время затихают шум улицы и рокот мотора). Дорогой отец, дорогая мать, Бельдонг убит. Помните его? Такой белобрысый, небольшого росточка, которому я помогал по немецкому языку, сын лоточника с угла Вюльнергассе. Помните? Бельдонг убит. Его убили вчера. Он не пал. Почему вы позволяли, чтобы вам врали, чтобы говорили о солдатах, «павших» на войне. Можно подумать, что солдат убивают, только когда они идут в атаку, но все, кто погиб на моих глазах, были убиты лежа, ни один из них не пал здесь — ни один. Бельдонг убит, я не могу это вынести, не могу. И если я не умру тут от холода, то умру от ненависти, да, от ненависти, а может быть, от того и от другого. Я не паду, и вы... и вы...

Снова в прежнюю силу зазвучали шумы улицы и рокот автомобильного мотора.

Носильщик. Вот и кладбище.

Машина останавливается.

Хрантокс (шоферу). Подождите нас несколько минут.

Шофер. С кладбища можно выйти и через другие ворота.

Хрантокс. Понятно. Вот вам десять марок. Достаточно?

Шофер. Спасибо, вполне, я подожду.

Тишина, щебет птиц, глухой звук шагов по кладбищенской дорожке.

III

Носильщик. А как пройти, вы знаете?

Хрантокс. Да, знаю. Здесь все по-прежнему. Накануне моего бегства я был здесь. Хоронили тетю Андреа. Вот смотрите. Это склеп фон Хумов. Вот этот — Фрулкамов, а тот, в сторонке, — семейства Кромлах.

Носильщик. Ба, да тут вся Софиенштрассе собралась.

Хрантокс. Вот именно. Тут они снова встречаются и развешивают на сером камне свои визитные карточки из белого мрамора. (Жестко.) Хотелось бы знать, продолжают ли они и в земле изменять друг другу, обмениваются ли и в могилах женами на уикэндах, мучают ли и там своих детей, договариваются ли между собой, чей черед давать взятку и за какую партию голосовать? Да, интересно, продолжают ли они и в земле...

Носильщик (энергично его перебивает). Не тревожьте мертвых, пусть покоятся с миром. Подумайте лучше о своих родителях.

Хрантокс. А я как раз думал о своих родителях.

Носильщик. Не нарушайте царящего здесь покоя.

Хрантокс. Помилуй бог, могу ли я нарушить покой мертвецов? Кто-нибудь протестует? (Громче.) Я спрашиваю: кто-нибудь протестует? Как будто ни-

чего не слышно. Может, кто-нибудь все же хочет опровергнуть мои обвинения?.. Вот мы и пришли наконец.

Звук их шагов замолкает.

Носильщик. «Андреа Донат, родилась 12 апреля 1882 г., скончалась 16 июля 1931». Вы бежали из дома в июле тридцать первого?

Хрантокс. Да. Валяйте дальше, прочтите все имена.

Носильщик (тихо, но отчетливо). «Гуго Донат, родился в 1786-м, скончался в 1832-м. Вернер Донат, родился в 1801-м, скончался в 1873-м. Готфрид Донат, родился в 1836-м, скончался в 1905-м. Эрих Донат, родился в 1881-м, скончался в 1943-м...»

Хрантокс. Отец умер. И мать тоже.

Носильщик. «Эдит Донат, урожденная Шмиллинг, 1886—1944 гг.». Что, мне всех читать, и женщин и детей?

Хрантокс. Нет, читайте только тех, кто умер после тридцать первого года.

Носильщик. «Гериберт Донат, родился в 1917-м, пал в 1941-м под Белогоршей, унтер-офицер».

Хрантокс. Да, Крумен умер. Я сразу заметил эту надпись: «унтер-офицер Донат». Скажите, то, что он унтер-офицер, имеет какое-нибудь значение?

Носильщик. Ровным счетом никакого.

Хрантокс. Эх, я должен был взять его с собой, я же собирался взять его с собой. Из Кобленца я повернул назад и доехал до самого Бопаруса, но потом передумал. В Триесте я снова повернул и долго ехал назад, вдоль Мозеля, а потом снова передумал. Так я и не вернулся за Круменом... Унтер-офицер Донат, пал под Белогоршей... Крумен. Теперь я понимаю, почему у меня не екнуло сердце, когда мы подъезжали к этому городу... Крумена нет в живых, и город этот со всеми своими римскими, романскими, готическими и барочными памятниками старины пуст для меня... Крумена больше нет. Он тоже хотел стать врачом, врачом-миссионером. Но эта проклятая земля не могла его терпеть дольше двадцати четырех лет. (Тише.) Знаете ли вы, что значит быть богатым,

богатым на протяжении полутора веков, вечно богатым? Это как цвет кожи, от которого нельзя избавиться. Знаете ли вы, что значит в тринадцать лет застать мать с чужим мужчиной?

Носильщик. Нет, не знаю. Я знаю только, что значит быть бедным, вечно бедным. А вы это знаете?

Хрантокс. Нет. Всегда хотел узнать, но так и не удалось. Случалось, я голодал, иногда мои дела шли из рук вон плохо, однако всякий раз меня выручал «цвет кожи».

Носильщик. Здесь еще есть умершие после тридцать первого года.

Хрантокс. Анна Донат?

Носильщик. Кто?

Хрантокс. Жена Крумена.

Носильщик. Как, он был женат?

Хрантокс. Ему было четырнадцать лет, когда я ушел... Так что, не видно имени Анны Донат?

Носильщик. Нет.

Хрантокс. Значит, она, видимо, жива.

Носильщик. Кто?

Хрантокс. Анна. Ну-с, какие еще здесь имена умерших после тридцать первого года?

Носильщик. «Фредерика Шмиллинг, урожденная Донат, родилась в 1914 году, скончалась в 1942 г.».

Хрантокс. Ах, Фрицци, моя сестра. Ее уморил этот Шмиллинг. Она ни за что не хотела выходить за него. С детства она жила затворницей, вечно запиралась в своей комнате, не ходила ни в школу, ни в церковь, даже не обедала вместе со всеми. Она все лежала на своей кровати и думала о чем-то, чего и сама не понимала. Сестра была удивительно красива; лицо словно высечено из белого мрамора, черные волосы и глаза цвета меда. Этот мир ей не нравился, а в тот она не верила. Ела она только хлеб с маргарином и запивала жиденьким лимонадом. Единственный человек, присутствие которого она выносила, был Крумен. Он часто подолгу просиживал у нее после обеда, вечерами, а иногда даже ночью. Сидел возле кровати и держал ее за руку, она молчала, но когда он поднимался, чтобы уйти, она стискивала ему за-

пятье, и он снова садился на стул. Мылась ли она, переодевалась ли, я не знаю. Фрицци... она никогда не плакала, никогда не смеялась, никогда не читала... Значит, они все-таки спарили ее с этим Шмиллингом. От этого она и умерла в тридцать лет!.. Кто там еще?

Носильщик. «Фредерика Донат, родилась в 1936-м, скончалась в 1944-м».

Хрантокс. Родилась после того, как я ушел, и умерла прежде, чем я вернулся. Фредерика Донат — восьми лет... Это может быть только дочурка Вернера. (Тише.) Мой брат Вернер был мне всегда чужим, мы с ним словно говорили на разных языках. Ни одного слова у нас не было общего. Мы были как два человека, случайно встретившиеся у окошечка банка, — на мгновение они удивленно взглянули друг на друга, покачали головой и разошлись. Чужой... Пойдем дальше. Фамильный склеп фон дем Хюгелей вот здесь, за углом.

Носильщик. Вы не хотите помолиться за упокой души ваших близких? Не положите цветов на могилу?

Хрантокс. Цветов? Об этом надо было раньше подумать. Ну, ничего, это еще можно исправить. А вот молиться... Я надеюсь, покойники за меня молятся. Крумен, и Фрицци, и маленькая Фредерика...

Носильщик. Вы великолепно распределяете места в раю. Молитесь! (И после небольшой паузы, гневно.) Молитесь, говорю вам...

Тишина, щебет птиц.

Хрантокс. Пошли. Я не подойду к этому склепу... Я сяду вот на ту тумбу, а вы мне прочитайте имена тех, кто умер после тридцать первого года.

Носильщик. Вы ушли в июле?

Хрантокс. Да. Почему вы спрашиваете?

Носильщик. «Доротея фон дем Хюгель, урожденная Шмиллинг, родилась в марте 1890 г., скончалась в августе 1931-го».

Хрантокс. Ах, это мать Анны. Читайте дальше.

Носильщик. «Карл фон дем Хюгель, родился в 1916-м, пал под Амьеном в 1940 г., обер-лейтенант».

Хрантокс. Брат Анны, его тоже эта проклятая зем-

ля не могла терпеть дольше двадцати четырех лет, Когда я ушел в тридцать первом, ему было всего пятнадцать. Он шагал по городу под алым, как кровь, флагом и распевал песни о крови и мести. Как вы думаете, то, что он стал обер-лейтенантом, о чем-нибудь свидетельствует?

Носильщик. Ровно ни о чем.

Хрантокс. Читайте дальше.

Носильщик. «Вильгельм фон дем Хюгель, родился в 1885-м, скончался в 1942-м».

Хрантокс. Отец Анны. Дальше.

Носильщик. Все. Больше никто не умер после тридцать первого года.

Хрантокс. Она жива.

Носильщик. Вы можете ей позвонить.

Хрантокс. Да. Который час? (Небольшая пауза а.) Двадцать пять минут первого. Как медленно ползет время! Сейчас мы вернемся на вокзал и посмотрим номер в телефонной книге, а заодно, может быть, и перекусим. Анна жива. Отец и мать умерли, Фрицци и Крумен тоже. А вот Вернер жив, и, может быть, Анна...

Носильщик. А больше вы ни о ком не хотите узнать?.. Однокашники, друзья, учителя?

Хрантокс. Может, и хотел бы кое о ком. Если бы вспомнил их имена, да если бы было время. Через тридцать пять минут отходит мой поезд.

Носильщик. А задержаться здесь вы не хотите?

Хрантокс. Ни в коем случае. Пошли.

Носильщик. Помолитесь. Нельзя уйти с кладбища, не помолившись за усопших.

Тишина, щебет птиц, потом шаги Хрантокса и носильщика.

Хрантокс. Шмиллинг, урожденная Фрулкам. Фрулкам, урожденная Шмиллинг. Донат, урожденная Шмиллинг. Шмиллинг, урожденная Донат, фон дем Хюгель, урожденная фон дем Хюгель. Четыре семьи, сочетающиеся на протяжении двух столетий; вступают в браки, перетасовываются...

Носильщик. Вы из-за этого уехали?

Хрантокс. И из-за этого тоже.

Носильщик. А ваша девушка?

Хрантокс. Ей теперь должно быть сорок два. После смерти Карла она, наверно, стала главой фирмы «Скобяные товары. Ковры».

Шум улицы приближается.

(Шоферу.) Так вы нас в самом деле ждете?

Шофер. А как же? На счетчике всего пять марок двадцать. Куда теперь?

Хрантокс. Назад на вокзал.

IV

Рокот мотора, шум улицы.

Носильщик. А брата вашего вы не хотите повидать?

Хрантокс. Зачем? Мы уже тогда были чужими. Неужели вы думаете, что двадцать шесть лет разлуки нас сблизили?

Носильщик. Ваш брат потерял маленькую дочку, брата, родителей, вас. Вы должны к нему пойти. Он же ваш брат.

Хрантокс. А у вас есть братья?

Носильщик. Было три. (Короткая пауза.) Вильгельма убили под Лютихом в 1914-м, Отто умер в 1942 году.

Хрантокс. От бомбежки?

Носильщик. Нет, от ангины.

Хрантокс. А третий?

Носильщик. Третий жив, но мы не понимаем друг друга. Он получил образование и стыдится меня. Настолько стыдится, что никогда не уезжает с главного вокзала из страха, что может там меня встретить. Вы это понимаете? Вы когда-нибудь стыдились кого-либо?

Хрантокс. Нет, даже знакомых богачей. Даже моей матери.

Носильщик. Матери?

Хрантокс. Она жила с другими мужчинами прямо у нас дома. С художниками. А отец, чтобы не остаться в долгу, занимался художниками.

Носильщик. Помилуйте, что вы говорите!

Хрантокс. То, что слышите. Крумен знал об этом, видел, слышал — в доме даже пахло прелюбодеянием, вот что я говорю!

Носильщик. А вы, вы разве этим не занимались?

Хрантокс. Нет.

Носильщик. Никогда?

Хрантокс. Никогда. Даже с Зейлой, с которой мне потом довелось познакомиться. Там у меня была жена. (Ш о ф е р у.) Пожалуйста, поедем по Софиенштрассе.

Шофер. Как прикажете.

Носильщик. Вы были женаты?

Хрантокс. Да. Но я вскоре расстался с женой, откупился золотом. Она хотела (презрительно) получить свободу. Я ей вернул свободу.

Носильщик. Детей не было?

Хрантокс. Нет. Ах, вот и Софиенштрассе! В самом деле она мало изменилась. Только деревянные оконные переплеты заменили на медные. Похоже, они стали еще богаче, чем были. Поглядите-ка на решетку сада Фрулкамов. Что, эти шишечки из золота?

Носильщик. Да, из золота.

Хрантокс. А вот и наш дом, он чертовски похож на Вернера, такой же солидный, отвечает требованиям хорошего вкуса, незаметный, но богатый... Ой! Здесь живет Анна! Она жива! Жива!

Шофер. Остановиться?

Хрантокс. Нет, едем дальше.

Носильщик. С чего вы взяли, что она жива?

Хрантокс. Я это увидел по цветам на подоконниках. Она же с ума сходила по герани, но дома ей не разрешали разводить герань из-за запаха. Они считали этот запах слишком вульгарным. А вы заметили: все окна в герани...

Шофер. Теперь на вокзал?

Хрантокс. Да, на вокзал.

Носильщик. Вы действительно намерены уехать поездом тринадцать девять?

Хрантокс. Да, быть может, еще успею перекусить. А вы мне тем временем раздобудьте телефонную книгу.

Носильщик. Телефонная книга есть в буфете.

Хрантокс. Отлично.

Шофер. Вот и вокзал. Семь марок восемьдесят.

Хрантокс. Сдачи не нужно.

Шофер. Премного благодарен.

Хрантокс. До свиданья.

V

Носильщик. Вот телефонная книга.

Хрантокс. Спасибо. Вы хотите есть?

Носильщик. А вы будете?

Хрантокс. Не знаю.

Носильщик. Без четверти час. Вы действительно хотите есть?

Хрантокс. Нет, но пить хочу. Может, возьмем пива?

Носильщик. Давайте.

Хрантокс (кельнеру). Две кружки, пожалуйста. Два пива!

Кельнер. Два пива.

Хрантокс. Найдите, пожалуйста, в телефонной книге: Донат Анна, Софиенштрассе, 7.

Носильщик. Донат?

Хрантокс (с легким раздражением). Да, я полагаю, что она вышла за Крумена.

Носильщик. За вашего брата?

Хрантокс (гневно). Не задавайте вопросов, ищите.

Кельнер. Пожалуйста, два пива.

Хрантокс. Спасибо.

Носильщик (листает телефонную книгу, бормочет). Донан... Домщик... Домш... Дон-Боско-Гейм, Донат Вернер, Софиенштрассе, 9. Анны Донат нет.

Хрантокс. Посмотрите получше.

Носильщик. Я смотрю внимательно. Нету Анны Донат.

Хрантокс. Тогда посмотрите на фон дем Хюгель.

Носильщик. Смотреть на букву «х» или на «ф»?

Хрантокс (нетерпеливо). На «ф».

Носильщик (листает книгу, бормочет). Фон Аанен, фон Дерих, фон Дессен, фон дем Хюгель Анна, Софиенштрассе, 7.

Хрантокс. Профессия?

Носильщик. Не указана.

Хрантокс. Она не вышла замуж. Запишите номер телефона. (Тише.) Ей минуло шестнадцать, когда я ушел. Мы втроем были всегда вместе: Анна, Крумен и я. Вместе ездили на море, катались на аквапланах. Я вел моторку, а Анна и Крумен мчались на досках. Нам было весело. Мы вырезали свои инициалы на коре векового дуба: АФДХ-ПД-КД. Когда шел дождь, мы целые дни напролет носились по лесу, собирали ягоды и варили на костре суп из того, что нам удавалось выклянчить: немного крупы, картошки, иногда яйцо. Мы боялись идти домой, боялись не наказания, а того, что наши родители называли «своей свободой».

Носильщик. Может быть, вам следовало взять с собой брата и девушку?

Хрантокс. Началась война.

Носильщик. Война началась лишь в 1939 году, спустя восемь лет после того, как вы ушли из дома.

Хрантокс. О, вы точно все рассчитали. Нет. Крумен не пошел бы со мной без Анны.

Носильщик. А вы?

Хрантокс. А я бы во второй раз не ушел без Крумена. Мне казалось правильнее уйти одному и остаться одному. Я был уверен, что найду ее в телефонной книжке под фамилией Анны Донат.

Носильщик. Ах, вот оно как!

Хрантокс. Вы поняли?

Носильщик. Не совсем.

Хрантокс. Но хоть кое-что?

Носильщик. Да.

Хрантокс. Я сам, пожалуй, понимаю не больше. Но в тот летний вечер я твердо знал, что мне надо уйти одному, и я ушел.

Носильщик. И все же вы дважды поворачивали за братом, а не за девушкой.

Хрантокс. Совершенно верно — дважды поворачивал назад, но затем снова ехал вперед. Крумен любил меня, как любят только господа бога. Я был для него чистым, правдивым, великим. Все, что я делал, было благо, но на самом деле он один обладал теми качествами, которыми восхищался во мне. Мне правильной было уехать, чтобы Анна осталась с ним. Теперь вы понимаете?

Носильщик. Больше, но не все. (Тише.) Так вы не хотите позвонить по телефону?

Хрантокс. Анне Донат я мог бы позвонить, может быть, даже навестил бы ее, но Анне фон дем Хюгель — нет, не могу. Мне уже не семнадцать, мне на двадцать шесть лет больше, я многое забыл, почти все. Тогда я был уверен, что лучше уйти одному, оставив их здесь. Понимаете? Я плачу вам за час по таксе тяжелой работы, чтобы вы поняли. Хороший рассыльный обязан выслушивать различные признания.

Носильщик. Я понимаю все больше. Уже без четырнадцати минут час. Но вы ведь не поедете этим поездом?

Хрантокс. Почему бы мне им не поехать?

Носильщик. А что вы будете делать в Афинах?

Хрантокс. Я поселюсь в гостинице. Ненадолго. Там посмотрю. Может быть, вернусь назад в Латинскую Америку, а может быть, еще куда-нибудь. Деньги у меня есть. Мясо теперь в цене, а у меня большие стада. Мне сопутствовало счастье — я многое делал вовсе не ради денег и все же при этом изрядно зарабатывал. Я скупал у людей, покидавших страну, их тощие участки, их дома, их скот ради того, чтобы им помочь, дать им денег на дорогу, но все это потом превратилось в золото. Восемь лет спустя цены на землю подскочили, да и на дома тоже, а скот все дорожал. Мое добросердечие обернулось банкнотами, а сочувствие принесло неожиданный барыш.

Носильщик. Видно, господь благословил ваши дела.

Хрантокс. Вы говорите — благословил. Что я, Авраам, Иаков или святой Иосиф?

Носильщик. Выпьем за здоровье... За здоровье вашей девушки. Сейчас без десяти минут час.

Хрантокс. Да, за здоровье Анны.

Носильщик. Вы сейчас позвоните по телефону, поедете к ней и узнаете, что у вас тогда не было никаких причин уйти одному.

Хрантокс. Крумен не мог бы жить без Анны.

Носильщик. А вы смогли.

Хрантокс. Да. И Крумен умер не от этого — ему было двадцать четыре. Вы записали номер телефона?

Носильщик. Да. Уже время. Если вы все-таки решили ехать этим поездом, то через четверть часа мне нужно взять чемоданы.

Хрантокс (встает. Оставляет на столе деньги). Этого достаточно за пиво?

Носильщик. Вполне.

Хрантокс (на ходу). На телефонах-автоматах по-прежнему кнопки?

Носильщик. Нет. Теперь у нас прямое соединение.

Хрантокс. Хорошо, наберите номер, который вы записали, попросите к телефону фрейлейн фон дем Хюгель, а когда она возьмет трубку, скажите: «Вас вызывает Нью-Йорк, минутку!» (Небольшая пауза.) Вам это не по душе? Но ведь я вас нанял.

Носильщик. Почему вы обязательно хотите положить между вашим голосом и голосом вашей девушки столько километров?

Хрантокс. Потому что я не хочу, чтобы мне снова стало семнадцать. Из-за прожитых двадцати шести лет разделяю я наши голоса этими тысячами километров. А теперь набирайте номер. Соедините меня, потом пойдете за моими чемоданами и отнесете их на перрон. На какой, кстати?

Носильщик. На третий.

VI

В телефонной будке. Скрип наборного диска.

Анна. Фон дем Хюгель слушает.

Носильщик. Анна фон дем Хюгель?

Анна. Да.

Носильщик. Минутку. Вас вызывает Нью-Йорк.

Анна. Нью-Йорк?

Хрантокс. Анна?

Анна. Пауль?

Хрантокс. Ты узнала мой голос?

Анна. Я не знаю никого, кто бы мог мне позвонить из Нью-Йорка, кроме тебя, которого уже нет.

Хрантокс. Я еще есть.

Анна. Нет.

Короткая пауза, слышны далекие гудки локомотива, тиканье часов.

Хрантокс. Меня уже нет?

Анна. Нет. Для меня ты умер в день, когда тебе исполнилось тридцать.

Хрантокс. В 1944 году?

Анна. Да. До тех пор я еще надеялась, что ты вернешься или хотя бы напишешь. Хотя что-нибудь. Почему ты ушел?

Хрантокс. Ты не знаешь?

Анна. Знаю. Но ты был умнее нас, которых это касалось, умнее Крумена и меня.

Хрантокс. Нет, ум тут был ни при чем.

Анна. А что?

Хрантокс. Скорее...

Анна. Что? У тебя было двадцать шесть лет, чтобы это обдумать, или ты об этом не думал?

Хрантокс. Не часто, но я твердо знаю, что ум тут ни при чем.

Анна. Ревность?

Хрантокс. Пожалуй. Я думал, так будет лучше для вас.

Анна. Так не было лучше для нас. Так было для нас плохо. Был ад, потому что тебя не было. Ты должен был остаться либо взять нас с собой.

Хрантокс. Остаться? Фельдфебель Донат, лейтенант Донат, ефрейтор Донат пал, нет, убит под Витебском, под Киевом, под Севастополем или под Берлином?

Анна. Возможно. А почему бы и нет? Все равно тебя больше не существует. Ты не пал, тебя не убили, и все же тебя больше не существует. Для меня во всяком случае.

Хрантокс. Как Вернер?

Анна. Я его почти не вижу, а когда мы видимся, то не говорим о тебе.

Хрантокс. Фрицци умерла, и твои родители, и мои, и Карл... Скажи, ты не вышла замуж за Крумена?

Анна. Нет. Мне это даже и в голову никогда не приходило. Давай кончать. Этот разговор стоит слишком дорого.

Хрантокс. У меня есть деньги. Пожалуйста, поговори еще немного с тем, кого больше нет. (Небольшая пауза.) Ты так и не вышла замуж?

Анна. Потом, после смерти Крумена и после того, как тебя не стало. Но вскоре я рассталась с мужем, он захотел получить (презрительно) свободу. Я ему ее дала.

Хрантокс. У меня тоже была жена. Она тоже захотела получить свободу. И получила. (Небольшая пауза. Тихо.) Я хотел бы тебя увидеть.

Анна. Нет.

Хрантокс. Я хотел бы тебя увидеть.

Анна. Нет. Зачем?

Хрантокс. Двадцатого июля, на следующий день после похорон тети Андреа, я лежал в траве в саду, когда ты стояла с Круменом в дверях. Двадцатого июля.

Анна. И ты все слышал? Все? Да?

Хрантокс. Да. В ту ночь я уехал.

Анна. Правда? В ту ночь?

Хрантокс. Правда.

Анна. У меня ребенок от Крумена, но это случилось уже позже, значительно позже, незадолго до того... до того, как он умер. Мальчик. Ему пятнадцать лет.

Хрантокс. Столько было Крумену, когда я ушел. Можно мне с ним повидаться?

Анна. Да, потом.

Хрантокс. А с тобой?

Анна. Нет. Зачем? Я не в силах. Я была у Крумена и в последнюю ночь, перед расстрелом.

Хрантокс. Перед расстрелом? Они его расстреляли?

Анна. Да. На плите фамильного склепа начертано «пал», но он не пал. Они расстреляли его у стога, в польской деревне, поздно вечером, впопыхах, как убийцы. (Небольшая пауза.) Там был священник, но Крумен отверг его услуги; он не хотел никакого утешения, не хотел принять причастия из его рук... Крумен был один, слышишь, один — алло, ты слушаешь?

Хрантокс (тихо). Слушаю. Почему? Почему они его расстреляли?

Анна. Он помогал пленным бежать, открывал двери теплушек, в которых везли рабов в Германию, давал им хлеб.

Хрантокс. За это его расстреляли? За то, что он давал им хлеб?

Анна. Да, и за это тоже... Я... Я всегда старалась быть где-то рядом с ним, если только это было возможно. Ты все еще хочешь меня видеть? (Пауза.) Молчишь? Ты слушаешь?

Хрантокс. Слушаю. Ты пошлешь ко мне сына Крумена?

Анна. Пошлю. Позже.

Хрантокс. Только смотри, не слишком поздно.

Анна. Сделай все, чтобы он не умер смертью Крумена. А меня — меня ты не увидишь. Меня больше нет, так же, как и тебя нет. Я любила того мальчика, семнадцатилетнего, продолжала его любить, когда он убежал, прихватив машину матери и деньги отца. Мальчика, который бросил своего брата, верившего только в него. Я ждала, ждала еще и после того, как умер Крумен и у меня родился от него сын, но потом наступил момент, когда тебя не стало. Ты — ты чужой, с голосом Пауля, сорокатрехлетний человек, приехавший бог весть откуда. Фельдфебель Донат, лейтенант Донат, ефрейтор Донат, убитый под Витебском, под Киевом или под Севастополем? Нет... Но хоть письмо, хоть одно письмо в год. Ничего.

Хрантокс. Ты пошлешь ко мне мальчика?

Анна. Да. И письма Крумена, которые он тебе писал. Их много. Они все еще лежат здесь нераспечатанные, нечитанные, лежат уже пятнадцать, шестнадцать лет. Отправитель: унтер-офицер Донат, расстрелянный под Белогоршей, у стога, поздно вечером, он был один, один, слышишь, один... (Бросает трубку.)

Несколько мгновений еще звучат какие-то шумы, потом Хрантокс тоже вешает трубку и выходит из телефонной будки; гул вокзала, шаги Хрантокса.

Носильщик. Тринадцать пять. Ваш поезд уже прибыл: Вена, Белград, Афины:

Хрантокс. Да, хорошо.

Носильщик. Вы?..

Хрантокс. Я говорил с ней долго и все узнал. Мой брат тоже не пал. Они расстреляли его вечером, у стога, он был один, слышите, один.

Носильщик (тихо). Я слышу. Один.

Хрантокс. Один. А вы... вы тоже один?

Носильщик. У меня есть жена... Мы женаты уже сорок пять лет. Думаю, не я один, а она одна: вечерами, лежа рядом со мной в постели, она плачет; я утираю ей слезы — вот и все. (Горячо.) Не садитесь на этот поезд, пусть он уедет без вас. По глупости, по недоразумению ушли вы из дому, не повторяйте этой глупости: быть может, вы через двадцать лет будете лежать рядом с ней и хоть слезы ей утирать.

Хрантокс. Я? Меня больше нет. Вы отнесли чемоданы?

Носильщик. Да, в вагон первого класса. Правильно?

Хрантокс. Правильно. Сколько я вам должен?

Носильщик. Прошло полтора часа. Как, по-вашему, работа была тяжелой?

Хрантокс. Да. Значит, семь марок пятьдесят. Потом вы пойдете на кладбище, это еще час. Всего двенадцать марок пятьдесят. Купите цветы — для Крумена, для Фрицци, для маленькой Фредерики и для Карла.

Носильщик. Какие цветы?

Хрантокс. Скорее, вот деньги, берите же, поезд уже отходит. (Шум отходящего поезда.)

Носильщик (с перрона). А родителям? Родителям? Им не надо цветов?

Хрантокс. Если хотите. Можете мне помахать на прощанье.

Носильщик (кричит вдогонку). Я буду вам махать так, словно я — ваш брат, ваша девушка, ваша сестра, ваша маленькая племянница, которую вы никогда не видели... До свиданья!

Шум уходящего поезда.

Хрантокс. Еще несколько взмахов руки, несколько едва приметных взмахов, и все.

Шум поезда усиливается.

КОНЦЕРТ ДЛЯ ЧЕТЫРЕХ ГОЛОСОВ

Бас. Мой шеф попрекает меня тем, что я абсолютно лишен честолюбия. Он сравнивает мои главные качества — бурную фантазию, организаторский талант и врожденное чувство порядка — с тремя зубчатыми колесами, которые исправно вертятся, цепляясь друг за друга, но вот если бы к этой системе добавить еще маленькую проворную шестеренку — честолюбие, этакую вечную неудовлетворенность достигнутым, то, что и говорить, я творил бы чудеса. Сравнение это, конечно, банальное, на метафору оно не тянет — не хватает образности. Это одна из особенностей моего шефа, ему всегда приходят на ум банальные сравнения и неудачные образы. Но я на него не в обиде. В конце концов не следует предъявлять людям, как бы это выразить... чрезмерные требования. Он — хозяин и вовсе не обязан при этом еще и мыслить образно.

Что до меня, то я честно исполняю свою работу, я бы даже сказал — свой долг (смеется), если можно назвать долгом продажу шляп; конечно, не в буквальном смысле слова — я не торчу за прилав-

ком, я не создан для того, чтобы непосредственно сталкиваться с покупателями, ибо одно из моих самых отрицательных качеств (его, кстати сказать, мой шеф упрямо не замечает, такие люди, как он, не в силах отказаться от своих иллюзий) — это цинизм, который делает меня непригодным к общению с людьми. Я даю путевку в жизнь новым фасонам шляп. Я даже не рисую эскизы, я только говорю: «Пора освоить новую модель», и тотчас на моем столе оказывается кипа рисунков, и мне остается только указать пальцем на тот, который я решу запустить в производство, и определить, какому возрасту его следует рекомендовать. До сих пор я еще не ошибался в выборе фасона. Шеф называет это интуицией, ему невдомек, что свой метод я почерпнул в анналах истории, творчески переосмыслив опыт аристократических салонов эпохи феодализма: чтобы обеспечить успех новым моделям, я заинтересовываю ими цвет общества, а цветом общества я называю интеллигенцию; я выбираю определенный круг — редакторов издательств и журналов, киношников, сотрудников радио и телевидения (про себя я называю их «Три Б»: Безбожники, Бодрячки, Балагуры, или: Богомольцы, Бодрячки, Балагуры) — я полагаю, мы можем их считать интеллигентами? Вот этим «Трем Б» я напяливаю на головы свои шляпы. Тут я вынужден признаться, что решительно не понимаю, почему интеллигенты жалуются, что, дескать, утратили свое влияние на общество. Стоит мне только пустить слух, что тот или иной головной убор носят редакторы, или киношники, или сотрудники радио и телевидения, как успех этой вещи обеспечен. Чего же интеллигентам еще надо? Люди носят те шляпы, которые они носят или о которых говорят, что они их носят. Интеллигент стал теперь синонимом моды. Разве устарела поговорка, пришедшая к нам от наших дедов: «Что на голове, то и в голове»?

Повторяю, если мне удастся водрузить на голову двум-трем видным представителям категории «Три Б» новую шляпу, беспокоиться за ее судьбу не приходится. Такая шляпа придает ее владельцу мужествен-

ность и вместе с тем поэтичность. Но, само собой разумеется, меня начали мучить угрызения совести; ведь этого не избежать тем, кто верит в высшие духовные ценности, а я в них верю; этого не избежать тем, кто осознал глупость так называемой элиты и зарабатывает на этой глупости. Сторонний наблюдатель — остались ли еще такие? — даже представить себе не может, какое безумие охватывает всех, как только какая-нибудь новая шляпа входит в моду. Люди просто рвут эти шляпы из рук. В специализированных магазинах, продающих шляпы нового, модного фасона, дело доходит буквально до мордобития. Заголовки в газетах «Драка из-за шляп» еще больше разжигают страсти. Кто же расхватывает эти шляпы? Интеллигенты. Я мог бы привести примеры, назвать довольно громкие имена, имена тех, кто публично с презрением клеймит «стадное чувство» своих современников, но я, конечно, не буду разглашать профессиональных тайн... Короче говоря, меня стали терзать угрызения совести. Сделаешь что-нибудь сомнительное, и тут же приходится расплачиваться душевными муками. К кому же идти за помощью? Конечно, прежде всего я попытался поговорить с женой. Но тщетно. Она просто не поняла, что, собственно, я имею в виду. «Шляпы? — удивилась она. — Разве люди не должны носить шляп? Или ты, чего доброго, принуждаешь их носить именно ваши шляпы?» — «Да, — ответил я, — в известном смысле я их принуждаю. По моей воле носят они наши шляпы, я их заколдовываю». — «Так радуйся, — ответила мне жена, — что ты так хорошо умеешь колдовать». Нет, говорить с ней об этих вещах лишено всякого смысла. В конце концов она только жена и мать, а вовсе не психоаналитик. К кому же еще может обратиться добропорядочный католик, когда его мучают угрызения совести? Ясное дело, к священнику. И я пошел к священнику. Признаюсь, и это оказалось совершенно бессмысленной затеей. Он заговорил о боге. Он сказал: «Разве бог не создал дождь и ветер, снег, солнце и мороз? Читали ли вы «Песнь солнца» Франциска Ассизского? Нет? Тогда немедленно прочтите,

вот, возьмите, я дарю вам эту книгу. Бог создал дождь, ветер, солнце, снег и мороз, а вы, в свою очередь, создаете шляпы. В высшей степени полезная деятельность». Когда я попытался ему объяснить, что создаю шляпы вовсе не для защиты от дождя, снега... он меня перебил и сказал: «Значит, люди их покупают, дабы украсить себя». И полчаса он разглагольствовал о красоте и о нашем долге «творить Прекрасное». Я ушел, не получив никакого утешения. Надо ли считать меня циником, если в результате этого визита я создал новую модель шляпы для священников, успех которой превзошел все ожидания?

Сопрано. Наш папа — прелесть, он такой великодушный и никогда не бывает в дурном настроении. Но иногда он кажется таким печальным. Я думаю, у него какой-то комплекс. И все из-за этих шляп. Дело не только в том, что он в любую погоду — в дождь, в снег, в мороз ходит с непокрытой головой, главное — он перестал посещать по воскресеньям церковь. Он сказал: «Я просто не в силах смотреть, как все они — «все» это, конечно, преувеличение, — как все они после службы надевают на головы мои шляпы». А ведь его шляпы так элегантны. Я думаю, это уж слишком — не ходить в церковь из-за каких-то шляп. Вообще он теперь почти никуда не ходит. Только время от времени на званый обед к шефу или на один из этих приемов в ресторане, где говорят лишь о шляпах, где заседают из-за них (с м е е т с я), да, да, именно заседают. «Заседание, посвященное шляпам» звучит комично, но такие заседания бывают. Отец ведь делает и серьезные шляпы: для государственных деятелей, крупных промышленников и, как он говорит, «им подобных субъектов». Эти шляпы стоят дорого и продаются только тем, кто может документально подтвердить свое право на эти шляпы, или кого лично рекомендовали фирме. Я бы так хотела помочь отцу, боюсь, он впадет в меланхолию.

Меццо-сопрано. Эрвин в самом деле талантлив. Он всегда знает, что нужно рынку. Даже та плоская шляпа с широкими полями, от которой я пыталась

его отговорить, нашла сбыт. Сейчас он собирается броситься на цилиндры. Он сказал мне: «Вот увидишь, цилиндры будут расхватывать, как...» Но он не смог найти подходящего сравнения, а я понимаю, что избитое «как пирожки» он больше не в состоянии произнести. Этими цилиндрами он лишний раз доказал свой нюх. Люди требуют, просто требуют возрождения традиций, освященных веками форм, образцов, достойных подражания, внешних атрибутов солидности. Наверное, Эрвин сумеет и молодежь пристрастить к цилиндрам. Он иногда бывает весьма циничен. Как-то на днях он сказал мне: «Жаль, что на кардинальские шапки такой ограниченный спрос. А то у меня появилась идея».

Но больше всего меня тревожит то, что Эрвин стал пренебрегать своими религиозными обязанностями. Он сказал мне: «Оставь меня в покое. Когда вы ходите в церковь, я читаю «Песнь солнца» Франциска Ассизского. Это единственно возможное чтение для человека, занимающегося шляпами». Он и в самом деле читает Франциска Ассизского. Я говорила об Эрвине с нашим священником. Священник удивил меня своей терпимостью. Он сказал: «Ваш супруг переживает кризис, но мне кажется, что кризис этот может оказаться для него крайне плодотворным. Его муки совести — это своего рода искушение. Можно испытывать искушение что-то сделать, но можно испытывать и искушение чего-то не делать. Ваша великодушная супружеская любовь и сердечная привязанность детей помогут ему побороть это искушение и продолжать создавать свои великолепные шляпы, не испытывая при этом никаких угрызений совести. Вы говорите, он читает «Песнь солнца»? Это же прекрасно! Терпение. Только терпение». Но как раз терпения мне не хватает. Мне кажется, надо немедленно что-то предпринять. «Так дальше продолжаться не может, — сказал мне шеф. — Правда, творческая фантазия вашего супруга безгранична, деятельность его необычайно плодотворна. Он незаменимый работник, но все же он заходит слишком далеко. Даже экстравагантность, с которой мы так долго мирились,

имеет свои границы. Нельзя терпеть, если от человека воняет». Да, другого слова он найти здесь не может: «воняет».

(Вздыхает.) Мне пришлось прибегнуть к крайним мерам. Как только Эрвин заснул, я унесла его белье, и волей-неволей он вынужден был наутро надеть чистое. К счастью, погода мне благоприятствовала: было холодно, и когда поиски грязного белья в корзине не увенчались успехом, ему ничего не оставалось, как скрепя сердце надеть все чистое, при этом он ужасно бранился. Но к чему это привело? С тех пор он ложится в постель, не снимая не только сорочки, но и кальсон; даже галстук он не развязывает, а утром уходит невымытый, с кусочками мармелада в бороде. (Рыдает.)

Тенор. Утром, когда отец встает, меня уже не бывает дома, а вечером, когда я возвращаюсь, он уже лежит в постели, поэтому я ничего не знал обо всей этой истории. Печальное лицо матери, странные намеки сестры — да. Но вот в они я просто не заметил. По воскресеньям я хожу в церковь на раннюю мессу, потому что от девяти до полудня музицирую со своими друзьями, а домой попадаю очень поздно — вечерами мы дискутируем. Больше всего — о стадном чувстве в современном обществе. И когда позвонил шеф и забил тревогу, я вдруг сообразил, что уже шесть недель вообще не видел отца, а похоже, что его кризис развился и достиг своей высшей точки именно за эти шесть недель. Факты подтвердились: от отца действительно воняет. Другого слова здесь не подберешь. Конечно, всему этому может быть только одно объяснение: запоздалое сексуальное развитие и вызванное этим желание делать все назло. Пережитое на войне выбило его поколение из седла. Правда, отец никогда не говорит об этом, но я уверен, что все дело в пережитом, в комплексе вины. Былая душевная нечистоплотность обернулась теперь болезненной потребностью в нечистоплотности физической. Есть два средства борьбы: психиатр и ванна. Боюсь, нам придется прибегнуть к обоим — отец успел довести себя до такого со-

стояния, что миндальничать с ним было бы преступно. Возможно, ко всему примешался и сексуальный комплекс. Мужчины за пятьдесят — дело известное! В воскресенье, сразу же после мессы, я пойду к Гурберту — у его отца одна из лучших клиник в городе. Самое удивительное заключается в том, что папа — как сообщил мне его шеф по телефону — стал теперь для фирмы еще более незаменимым, чем прежде: он полон великолепных творческих замыслов, его интуиция по части сбыта работает безошибочно, и шеф уверял меня — правда, возможно, тут есть некоторое преувеличение, во всяком случае, это звучит чересчур мелодраматично, — но он уверял, что без отца фирма погибнет. Да, так он и сказал: «Фирма просто-напросто погибнет». Попытка поговорить с матерью не увенчалась успехом: слезы и бессвязный лепет. Абсолютно непригодна для деловых разговоров. А сестра еще глупа: вид отца ей даже импонирует, она находит в этом особый шик. У нее явно недоразвитое обоняние. Я пожертвовал двумя уроками математики и уроком латыни, более того, в воскресенье я пошел на позднюю мессу, и все это, признаться, для того, чтобы последить за отцом. И мне стало ясно — его поведение всего лишь романтическая поза. И удивляться тут не приходится: ни стоя, ни лежа, ни сидя он ни на миг не расстается с «Песней солнца» Франциска Ассизского. Вот он и стремится выглядеть нищим. Впрочем, на нищего отец ничуть не похож. Если поначалу он казался просто небритым, то теперь у него отросла уже настоящая борода, пусть не ухоженная, но борода. А так как на нем костюм высшего качества, да еще тщательно вычищенный матерью, то выглядит он вполне сносно. Все это может сойти за чудачество, свойственное богеме, — как-никак, а отец тоже своего рода художник. Короче, отталкивающего впечатления он не производит. Ужасен только запах. Но поскольку пиджак, брюки и даже носки отец на ночь все же снимает, мать могла бы не только тайно почистить костюм, но и обрызгать его жидкостью, отбивающей запах. Однако до такой элементарно простой мысли мать сама не додумалась.

А ведь можно было во время сна даже повязать ему новый галстук — старый абсолютно засален. Ужасно, что женщины так несообразительны. Я согласен, все это лишь полумеры, они не решают проблему, не дают исцеления, но они хоть помогут выиграть время. Сейчас ведь это главное — выиграть время. Мать совершает еще одну ошибку — она дает отцу почувствовать всю необычность его поведения: скорбное выражение лица, слезы, причитания. И это, конечно, только подогревает тщеславие такого романтика, как мой отец. Я же вел себя так, словно с отцом ничего не происходит: подал ему руку и чмокнул в щеку, как это делаю всегда, когда его вижу. Правда, отец как-то странно реагировал на мой поцелуй. Он сказал: «Иуда это делал лучше». Но сказал он это очень спокойно, просто констатируя факт, и тем самым облегчил мою задачу: я решил вести себя как ни в чем не бывало. Я сел против него, налил себе кофе, намазал маслом булочку и при этом отметил, что аппетит у отца отличный. Меня это удивило: ведь обычно ипохондрики теряют аппетит. Папа съел — я чувствовал себя обязанным все это подробно регистрировать, чтобы помочь отцу Губерта поставить диагноз, — так вот, он съел три булочки с маслом и медом, два бутерброда с ветчиной и выпил три чашки кофе. Потом он закурил и просмотрел газету. Когда я спросил его, над чем он сейчас работает, он ответил равнодушным голосом: «Разрабатываю новый тип тиары»*. Что это — одна из его обычных циничных шуток? Он никогда разумно не относился к религии. Я попытался было снова чмокнуть его в щеку, но он уклонился от поцелуя. Во время завтрака я отметил также, что за руками он по-прежнему ухаживает и даже моет их. Явный комплекс Пилата!**

Меццо-сопрано. Поначалу я думала, что у Эрвина

* Тиара — головной убор римского папы.

** Понтий Пилат — римский наместник в Иудее в I веке н. э. Как сказано в евангелии, после суда над Иисусом Христом он умыл руки в знак того, что непричастен к казни Христа. Отсюда и выражение: «Я умываю руки».

обычный весенний кризис — он всегда нервничает перед ежегодным показом весенних моделей. Ведь он, как правило, предлагает самые рискованные фасоны, но в этом году, казалось, хватил через край: шляпа из козьей шкуры для молодых людей походила на кардинальскую, только тулья ее была менее круглая и более плоская. Когда Эрвин показал мне готовый образец, я воскликнула: «Да ведь в ней все будет похоже на клоунов! Нет, этот фасон не пройдет!» Когда же на квартире у шефа эту шляпу примерили манекенщики, все присутствующие впали в уныние, даже сами манекенщики: они и в самом деле выглядели как клоуны, на них без смеха нельзя было смотреть, — ведь то, что естественно для клоуна, нелепо выглядит на молодых людях от двадцати до тридцати лет. Но шеф сказал: «Путь к отступлению нам отрезан, мы можем только идти вперед». А Эрвин подхватил: «Так точно, господин генерал. Наступление — лучшая оборона!» Модель, которую Эрвин предложил для мужчин от тридцати до пятидесяти, была еще чудовищней: шляпа из велюра с высокой острой тульей сильно смахивала на те колпаки, что носили евреи в средние века. Когда манекенщик появился в этом головном уборе, супруга шефа разразилась рыданиями. «Алоиз, — сказала она своему мужу, — мы разорены, этого никто не наденет». Настроение у всех было ужасное, и когда сели за стол, никому, кроме Эрвина, кусок в горло не шел. Накануне мне удалось проделать то, что советовал мой сын. Ночью я не только вычистила костюм мужа, но и обрызгала его отбивающей запахом жидкостью. Правда, утром Эрвин обрушил на мою голову самые страшные проклятья, зато на обеде у шефа он выглядел вполне пристойно, и, главное, от него не воняло. Как я уже сказала, только он один ел с аппетитом; дважды ему подливали суп и всякий раз, когда слуга подносил блюдо с мясом, Эрвин накладывал себе новую порцию, так что в конце концов супруге шефа пришлось знаком отправить слугу из комнаты. Но хуже всего вел себя Эрвин за десертом: он ел мороженое и одновременно курил, да еще настоял, чтобы ему сюда же подали кофе.

А супруга шефа все шептала мне на ухо, какие чудовищные суммы вложены в эти новые модели: «Вы представить себе не можете, как подскочили в цене козьи шкуры, когда выяснилось, в каком количестве мы их закупаем». «Ваш муж, — прошипела она в конце обеда, — ведет себя, как гений. Но, боюсь, он уже не гений». Когда подали коньяк, Эрвин подошел к шефу, чокнулся с ним и воскликнул: «Вперед, господин генерал! Наступление — лучший вид обороны!» Это уже выглядело совсем ребячливо... Но самым удивительным было то, что произошло потом: оба фасона имели колоссальный успех. Когда я впервые увидела их на улице, я едва сдержалась, чтобы не расхохотаться, до того нелепо они выглядели. Но странно, через день-другой к этим шляпам пригляделись, они уже не казались смешными, особенно островежные из велюра, напоминающие средневековые еврейские колпаки. Правда, в последнюю минуту, перед тем как выбросить их на прилавок, им слегка замяли верх. Вскоре поступил в продажу и молодежный цилиндр Эрвина — снова оглушительный успех. Стало модным надевать цилиндр, отправляясь на танцы, на помолвки, на экзамены, даже на мопеде ездили в цилиндрах; правда, от автомобильных фирм поступили жалобы, что из-за распространившейся моды на цилиндры стали хуже продаваться роскошные низкие машины. Тогда Эрвин, исполненный боевого задора, создал специальный складной автоцилиндр, нечто вроде модернизированного шапокляка, который при помощи специальной пружинки распрямляется, как только выходишь из автомобиля. «У меня разорвалось бы сердце, — сказал Эрвин, — нанеси я ущерб автомобильным компаниям». Уже давно всем стало ясно, что состояние Эрвина нельзя объяснить одним весенним кризисом. Теперь, после того, как я ночью тайно вычистила его костюм, а он наутро, проклиная меня, перерыл весь дом в поисках грязного, Эрвин ложится в постель в пиджаке, брюках и ботинках, поэтому мне пришлось покинуть супружеское ложе и стелить себе на диване в кабинете. Другого выхода у меня не было, даже священник сказал, что я вправе так поступить. Все

в конце концов имеет границы, и где-то терпению наступает конец. Что будет дальше — не знаю. Нельзя же заставить человека силой обратиться к психиатру, а тот врач, что явился к Эрвину в контору, и, ловко маскируясь под клиента, обследовал его, пришел к обескураживающему выводу: интеллект не только не поражен, но, наоборот, отличается предельной остротой. Фирма нуждается в Эрвине, нуждается больше, чем когда бы то ни было, а для нас он отец и муж. Священник время от времени позволяет себе высказывания, которые я считаю по меньшей мере бестактными. На днях он сказал мне: «Помните святой обет: «пока вас не разлучит СМЕРТЬ». Заметьте, не ЗАПАХ, а... Но дальше я не стала слушать...

Сопрано. Я так волновалась и так радовалась, когда прибежала к священнику и сказала, что отец обещал мне снова ходить в церковь. Мне удалось убедить папу, что он ведет себя неразумно. Вообще я не могу пожаловаться на то, что он стал каким-то мрачным или неприветливым. Таким он бывает только с матерью. Он считает ее предательницей. Быть может, он и преувеличивает, но что-то в этом есть; короче говоря, я побежала к священнику, чтобы сообщить ему радостную новость. «Дорогое дитя, — сказал мне священник, — я не сомневался, что он вернется в лоно церкви, у него такая доброкачественная основа, и то, что он решил отказаться от своих причуд в отношении личной гигиены...» Но тут я перебила священника и сказала: «О нет, в этом вопросе мне не удалось его переубедить». Тогда священник сказал: «Но, надеюсь, ты не хочешь сказать, что твой отец намерен явиться в церковь в том виде, в каком он теперь ходит?» — «Да, — ответила я, — именно это я и хочу сказать: в том виде, в каком он обычно ходит». Тогда священник воскликнул: «Дитя мое, умоляю тебя, воспрепятствуй этому!» — «Как, — изумилась я, — я должна воспрепятствовать приходу моего отца в церковь?» — «Да, — подтвердил он, — в таком виде он не может переступить святого порога. Грешно ходить таким грязным. Грешно по отно-

шению к окружающим людям». Я заявила священнику, что не могу ему ничего обещать. Он сказал мне на прощанье: «Лучше пусть он совсем не приходит...»

Бас. Мой шеф никак не может принять мою идею создать новую тиару. Он говорит: «Вы должны согласиться с тем, что на всем свете на тиару есть только один клиент». — «Не спорю, — сказал я, — но зато что за клиент! В конце концов мы фирма, поставляющая головные уборы, а кто станет отрицать, что тиара — головной убор». — «У вас, — сказал мне шеф, — есть явная склонность к богохульству. Послушайте, — добавил он уже шепотом, — разрешите спросить вас по секрету, как католик католика: исполняете ли вы еще свои христианские обязанности?» — «Настолько, насколько мне это разрешают, — ответил я. — Священник передал мне через дочь, что не желает видеть меня в церкви в том виде, в каком я теперь хожу». — «Что ж, его можно понять, — сказал шеф. — Вы ведь сами знаете, какой вы теперь...» — «Какой же я теперь?» — спросил я. «Дорогой мой, — сказал шеф, — как мужчина мужчине, могу сказать: от вас смердит». — «Не от меня же первого смердит. И прежде бывали такие, от которых смердило». — «Да, дорогой, но мы ведь живем в такое время...» Тут я перебил его и сказал: «Вы и понятия не имеете, в какое время мы живем».

СОДЕРЖАНИЕ

Добрый человек из Кельна — Лев Гинзбург	5
О самом себе	9

Когда началась война

Когда началась война	15
В темноте . . .	35
Остановка в Х.	44
Выпивка в Петеки	54
Ящик для Копа	58

Когда кончилась война

Когда кончилась война	71
С тех пор мы вместе	92
Бледная Анна	98
Дядя Фред . . .	103
Не полавшая в сводки	108
Прощание	110
Смерть Эльзы Басколейт	113

Город привычных лиц

Город привычных лиц	121
По мосту	126
Белая ворона	132
Даниэль справедливый	142
Бессмертная Теодора	154
Признание	159

Вокзал в Цимпрене	161
Нежданные гости .	173
«Вы прибыли в Тибтен»	179
В стране руюнов	183
Шмек не стоит слез	188
Газетчик	211

Радиопьесы

Час ожидания .	217
Концерт для четырех голосов	241

Бэль Генрих

ГОРОД ПРИВЫЧНЫХ ЛИЦ. (Рассказы.)
Пер. с нем. Л. Лунгиной. М., «Молодая
гвардия», 1964.

256 с.

И(Нем)

Редактор Г. Головнев
Худож. редактор А. Степанова
Техн. редактор Л. Никитина

Подписано к печати 1/X 1964 г. Бум.
84×108¹/₃₂. Печ. л. 8(13,12). Уч.-изд. л. 12.
Тираж 65 000 экз. Зак. 1158. Цена 63 коп.
Б. Э. № 46, 1964 г., п. 4.

Типография «Красное знамя» изд-ва «Молодая
гвардия». Москва, А-30, Сушевская, 21.

63 коп.

МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ